

29.297К

СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ,  
ПАВШИЕ НА ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

# БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ



*Большая серия*  
*Второе издание*



---

С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ



# СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ, ПАВШИЕ НА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

*Предисловие*  
Алексея Суркова

*Вступительная статья*  
В. Кардина

*Составление, подготовка текста,  
биографические справки и примечания*  
В. Кардина и И. Усок

---

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД · 1965

Кр 29297

Поэты, чьи произведения представлены в сборнике, погибли в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Люди разных возрастов и национальностей, признанные поэты и начинающие — все они объединены судьбой бойцов в пору тяжелых народных бедствий. Читатель по заслугам оценит стихи Мусы Джалиля и Вилкомира, Вс. Багрицкого, Майорова, Когана, Кульчицкого, — наряду с этими именами он встретит в сборнике многих других поэтов, чье творчество впервые собрано и представлено столь широко и полно.





## ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ

С возрастом люди становятся сентиментальными. Листал я страницы этой книги и чувствовал, как растет комок в горле и слезы подступают к глазам. Ведь что ни фамилия, что ни строчка — молодая, оборванная смертельным металлом войны жизнь, вплавленная в песню.

Сорок восемь имен. Сорок восемь человеческих судеб, сорок восемь жизней, стремившихся высказать себя в звучащем слове и задушенных влажной глухотой братских могил. А за пределами этого сборника — еще имена, еще книги и судьбы: красавца, лирика, кумира московских девушек Иосифа Уткина, стремительного, нетерпеливого Джека Алтаузена, самого тихого в шумной группе левовцев Петра Незнамова, одного из днепрпетровской тройки комсомольских «мушкетеров» Александра Ясного, известного всем начинающим поэтам первых послеоктябрьских лет, автора книжки «Как делать стихи» ленинградца Алексея Крайского, военного поэта Якова Чапичева и других.<sup>1</sup> Эти имена — жертва, которую советская литература принесла Родине в ее трудную трагическую годину.

Когда я читал эту рукопись, невольно в памяти моей возникли слова, сказанные однажды, в начале войны, одним молоденьким командиром роты: «Вы знаете, когда читаешь в сводке о том, что в таком-то сражении потеряно убитыми и ранеными сотни или тысячи людей, то ощущаешь это, конечно, со скорбью и болью, но как-то «вообще». Но вот кончился бой на участке твоей роты. Из взводов приносят тебе списки убитых. Ты каждого из них знаешь в лицо, со многими, говоря по-солдатски, из одного котелка кашу ел, из одной баклажки «паек» пил. Вот тут ты чувствуешь военную

---

<sup>1</sup> В «Библиотеке поэта» выходит отдельный сборник стихотворений и поэм И. Уткина. Стихи Д. Алтаузена, П. Незнамова, А. Ясного и некоторых других поэтов войдут в готовящийся к изданию сборник «Из советской поэзии 20—30-х годов». — *Ред.*

потерю как свою личную горькую утрату. Как будто с каждым убитым кусок твоей жизни отрезали... Счастье, что природа наградила человека способностью привыкать даже к самому страшному. А без этого на войне все бы просто с ума посходили...»

Как он был прав, этот молодой офицер! Среди этих сорока восьми и среди старших, не вошедших в этот сборник, большинство были юноши, стихи которых я читал до войны, с которыми встречался в редакциях или на литературных вечерах, и по крайней мере двадцать из них были людьми, которые так или иначе вошли в мою человеческую судьбу.

Я читаю помещенные в этом сборнике стихи еврейского поэта Самуила Росина, московского ополченца, погибшего в вяземско-семлевском «котле», и вижу его — живого, тихого, талантливого лирика и принципиального, непримиримого участника литературных боев тридцатых годов. Это был человек чистой, младенчески бескорыстной души и большого, светлого поэтического дара.

Вадим Стрельченко. Я листаю странички своей памяти, и мне начинают звучать пророческие строки его стихотворения «Родине», написанного в 1935 году:

Певец твой, я хлеба и крова  
Добивался всегда не стихом,  
И умру я в бою  
Не от слова,  
Материнским клянусь молоком!

Да, пойду я веселым шагом,  
Ненавистный лжецам и скрягам,  
Славя яблоко над землей!  
Тонкой красной материей флага  
Защищенный, как толстой стеной.

Он весь — в строках этой надписи-посвящения своего первого стихотворного сборника. Тогда он приехал к нам в Москву из Одессы, высокорослый, ширококостный веселый рабочий парень. Приехал и поразил нас «лица необщим выраженьем», своеобразными, талантливыми стихами, полными бунтующей радости жизни. И у нас, тогдашних поэтов, не было сомнения, что из Вадима «выпишется» самый сильный и интересный из всех известных нам поэтов-рабочих. Он рос от стиха к стиху. Но пришла война, и этот поэт-жизнелюб встал в строй защитников Родины, и жизнь его оборвалась на высоком и дерзком взлете. Время было такое, что тонкая красная материя флага не могла прикрыть мужественное сердце лирика.



Борис Лапин... Начав стихами, он еще на стыке двадцатых и тридцатых годов со своим другом Захаром Хацревиным (погибшим вместе с ним в начале войны на Украине, в так называемом «прилукском окружении») перешел на прозу. И проза и стихи были отмечены печатью большого оригинального таланта, ума и тонкой наблюдательности. Вместе со своим другом он записывал и литературно обрабатывал легенды и современные сказания среднеазиатских народов, смело и дерзко стилизовал рифмованным и белым стихом; был среди писателей одним из наиболее рьяных землепроходцев, и было как-то естественно, что во время сражений в Монголии, на Халхин-Голе, в 1939 году, он стал одним из первых писателей фронтовой печати. Там он вместе со своим другом сочинил полную тонкой лирики и иронии песню фронтового газетчика, начинавшуюся строкой: «Погиб репортер в многодневном бою...».

Алексей Лебедев. Я его и сейчас вижу как живого, широкоплечего, статного моряка Алешу Лебедева, талантливого поэта, настоящего человека и замечательного товарища. Вижу его курсантом военно-морского училища и офицером-подводником. В памяти моей встают звучащие с его голоса стихи, насыщенные соленым простором Балтики, полные романтики странствий, воспевающие мужское мужество и мужскую любовь к жизни. С первого дня войны штурман подводник Алексей Лебедев вместе с друзьями вышел навстречу своей военморской судьбе, и их боевая лодка «не вернулась на базу» после одного из походов. Ранняя смерть под холодной толщей вод Финского залива подрезала широкие крылья яркой и сильной песни.

Всеволод Багрицкий... Маленький домик в старом дачном Кунцево. Тесная комната, заставленная аквариумами. Все это будет потом предано бессмертию в стихах Эдуарда Багрицкого. И среди этого удивительного мирка — озорной, шаловливый, дерзкий мальчишка, остроглазый, черноволосый. Мальчишку зовут Всеволодом. Он сын хозяина комнаты. Ему отец — в стихах «Папиросный коробок» — передавал во владение всю землю. Этот сорванец на моих глазах вырос, превращаясь из просто озорника в озорного школьника, а потом — в начинающего поэта, участника студии начинающих актеров и драматургов, руководимой и вдохновляемой ныне знаменитым Алексеем Арбузовым. Там они, возрождая традиции первых революционных лет, коллективно писали и ставили пьесу «Город на заре». Были у них широкие и дерзкие замыслы, но пришла война... Сын поэта, написавшего:

Валя, Валентина,  
Видишь: на юру

Базовое знамя  
Вьется по шнуру.  
Красное полотнище  
Вьется над бугром.  
«Валя, будь готова!» —  
Восклицает гром, —

вчерашний пионер, совсем еще зеленый юноша, Всеволод Багрицкий сказал привычное пионерское «Всегда готов!» грому, накатывающемуся с Запада, и уехал на фронт, чтобы встать в ряды писателей — армейских газетчиков. Недолго он провоевал. Бомба, сброшенная с «юнкерса», догнала его в болотах Северо-Западного фронта, где-то около Старой Руссы.

Георгий Суворов... Это было в разгар подмосковной битвы. Ко мне пришел дежурный по полевой редакции газеты Западного фронта «Красноармейская правда» и сказал: «Вас там какой-то лейтенант спрашивает. Можно?» В каморку вошел молоденький лейтенант со всеми внешними признаками уже повидавшего огонь человека и сказал, встав по стойке «смирно»: «Лейтенант Суворов. Разрешите обратиться, товарищ старший батальонный комиссар...»

Он сел около стола, заваленного материалами для очередного номера, и коротко сказал мне, что возвращается из госпиталя на Ленинградский фронт и хотел бы показать мне стихи. После этого он достал из полевой сумки тетрадь и стал читать. Это были выношенные, выстраданные, выползанные под вражьем огнем лирические строки, в которых свое переплеталось с общим и наоборот: общее приводило к своему, личному. Стихи были молодые, ломкие, в них еще отчетливо были видны следы юношеской начитанности автора, частенько лирическую ткань прерывала привычная в предвоенные годы риторическая велеречивость. То есть все было так, как бывает с первыми тетрадями начинающих поэтов. Но сквозь шелуху привычных слабостей пробивались оригинальный, неповторимый голос будущего таланта и сильная, мужественная человеческая душа.

Часа два мы просидели с Георгием, толкуя о его стихах, о поэзии, о том трудном времени, которое выпало нам на долю. Ни о чем не попросив, Георгий встал, пожал мне руку, поблагодарил и оставил тетрадь на тот случай, чтобы, если мы будем издавать сборник произведений начинающих фронтовиков, включить в него кое-что из прочитанного.

Лейтенант Суворов ушел, и через каких-нибудь несколько месяцев смерть настигла его в болотах Ленинградского фронта. Тетрадь осталась где-то в архивах редакции.



Имена. Имена. Имена. Один за другим возникают в моей памяти ленинградец Юрий Инге и мой товарищ по корреспондентству в «Красной звезде», фронтовой газетчик Леонид Вилкомир. Не могу я забыть и славного героя татарского народа Мусу Джалиля, которого я знал до войны и с которым случайно встретился, когда он отправлялся на фронт, чтобы возвратиться в память народа человеком-легендой, как Юлиус Фучик, как Габриель Пери.

Одно имя за другим... И каждое звучит знакомыми по живому голосу интонациями стиха. И большинство очерчивается в памяти живым своим обликом — все молодые, талантливые, жадные до жизни, преданные родине и поэзии.

Литература — зеркало народной жизни. Война затянула в свой огненный водоворот все народы Советского Союза. И представители поэзии всех братских народов приняли участие в войне штыком или пером. И в общих братских могилах воинов-героев, рядом с русскими поэтами Уткиным, Алтаузенем, Стрельченко, Лапиным и другими, покоятся украинцы Гаврилюк, Герасименко, Шпак, белорус Сурначев, литовец Монтвила, еврей Росин, татары Джалиль и Карим, грузин Геловани, абхазец Квицинна, армянин Гурян, кабардинец Шогенцуков, осетин Калоев...

Советские женщины на полях Великой Отечественной войны делили со своими отцами, мужьями и братьями тяготы и славу военного подвига. Немало талантливых поэтесс пришли в поэзию из пламени войны. И в братских могилах тех, кому не суждено было дожить до Дня Победы, покоятся героини — Елена Ширман, Варвара Наумова.

Пусть далеко не все предлагаемое вниманию читателя в этом мемориальном сборнике блещет совершенством отделки, ведь авторы были в подавляющем большинстве еще так молоды, что не смогли постигнуть и освоить все тайны поэтического мастерства, — написанное ими вливается в многоголосый хор многонациональной поэзии военных лет, по праву считавшей себя выразительницей мыслей и надежд народа-победителя.

Глубокий, ненаигранный оптимизм при неприглушенном звучании трагических нот сердце читателя чувствует и в предсмертной лирике моабитского узника Мусы Джалиля, и в «Завещании» одного из неизвестных авторов тетради, найденной на развалинах концлагеря Заксенхаузен:

Под красное знамя пойдут миллионы,  
И будет их поступь сильна.  
Падут под ударом врагов легионы,  
Моя возродится страна.

Ребята, тогда подведите итоги  
Страданий и наших побед,  
К безвестным героям не будьте так строги, —  
Ведь многим пришлось умереть.

Вы память святую о них сохраните,  
Запомните их имена.  
И в песнях погибших борцов помяните,  
Когда запоет вся страна.

Пусть наивны и безыскусны эти строки. Они написаны человеком, уже заглянувшим в пустые глаза смерти. И мороз по коже проходит от сознания того, что писал их человек, очевидно только что начинавший жить, не унижившийся до жалобы на свою раннюю гибель. И горделивое чувство охватывает вас, когда вы читаете строки из другого стихотворения той же тетради:

Я еще вернусь к тебе, Россия,  
Чтоб услышать шум твоих лесов,  
Чтоб увидеть реки голубые,  
Чтоб идти тропой моих отцов...

Пусть смерть на фронте или в петле на гитлеровском эшафоте помешала авторам стихов этого сборника вернуться на родину, чтобы вместе со своим народом-победителем слушать шум родных лесов, глядеться в голубые зеркала рек и продолжать идти тропой их отцов — огненной тропой великой революции, потрясшей мир до основания. Они не умерли, эти юноши и девушки, оставившие в дар народу цветы своей души — свою честную, искреннюю, мужественную лирику. И то, за что они умерли, воскресило их в сегодняшних героических трудовых подвигах народов, строящих мир всеобщего счастья — коммунизм.

Это о них, авторах этой книги, в чьих строках пульсировало сердце воющего народа, слышал я в начале войны из уст одного начинающего солдатского поэта простые, как гвозди, стихи:

Когда наш писарь полковой  
Возьмет мой список трудовой  
И отошлет его домой  
В конверте с черною каймой,  
Ты над конвертом слез не лей,  
А изорви его скорей...

Покойный в жизни весел был  
И черных красок не любил.

*Ал. Сурков*



## ПОЭЗИЯ ПОДВИГА И ПОДВИГ ПОЭЗИИ

Признак, по которому авторы сборника «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне», сведены под одну обложку, — биографический, точнее — признак завершения биографии. Поэты, чьи произведения представлены в сборнике, погибли в годы Великой Отечественной войны. Они пали в яростных приграничных схватках, в боях под Москвой и Сталинградом, в сражениях на Курской дуге и на Днепре, в небе над Будапештом и Берлином. Одни приняли смерть, прорываясь из окружения, другие — в гестаповских застенках и бараках лагерей для военнопленных, третьи — на явочных квартирах подпольщиков, четвертые — при выполнении партизанских заданий. Люди разных возрастов и языков, разной меры таланта, признанные поэты и начинающие стихотворцы — все они объединены судьбой бойцов в пору самых тяжелых народных бедствий.

Здесь факт единичной биографии становится фактом общественно-литературным, в немалой степени характеризующим поэтическое творчество определенного исторического периода. В этом факте заключена неотразимая сила личного подтверждения идейно-эстетического идеала, которому посвящал, которому отдавал свою жизнь и свое перо поэт. Фронтowym творчеством и фронтовой судьбой каждый стихотворец доказывал верность идеалу своей поэзии. Поэтическое слово не ведало разлада с жизнью. Оно подтверждалось последним подвигом поэта, закрепленным скупой строкой похоронного извещения: «Пал смертью храбрых...»

Творчеством писателей, чьи стихотворения составляют настоящую книгу, разумеется, не исчерпывается советская поэзия предвоенного периода и периода Великой Отечественной войны. Это

лишь часть ее. Но та часть, которая позволяет в значительной мере судить о целом, понять истоки гражданственности советской поэзии вообще и особенности так называемой «военной поэзии».

Необходимо сделать еще одну оговорку. Практически оказалось невозможным представить в одном сборнике всех советских поэтов, павших в годы Великой Отечественной войны, хотя книга эта наиболее полное из подобных собраний, вышедших у нас до сих пор. Она впервые объединяет поэтов разных национальностей, разных республик, отдавших жизнь в боях против немецкого фашизма. Наряду с авторами многих книг, такими, как, скажем, К. Герасименко, Ю. Инге, М. Троицкий, М. Шпак, А. Шогенцуков, С. Росин, Т. Гурян, Л. Квициния, в ней есть поэты, едва начавшие творческий путь (М. Кульчицкий, Н. Майоров, В. Багрицкий), а также такие, которые при жизни не увидели напечатанной ни одной своей строчки, но получили признание благодаря посмертным публикациям (П. Коган); есть поэты, с чьим творчеством читатель еще только начинает знакомиться (Б. Смоленский), или такие, которые до войны печатались мало, но оставили интересное рукописное наследие (И. Пулькин, Е. Нежинцев, Е. Ширман). Знакомство с архивами погибших литераторов позволило открыть новые поэтические имена. Заняли свое законное место в «поэтической рубрике» военные журналисты Л. Вилкомир и Л. Шершер, павшие в воздушных боях.

Бесконечно многообразны жизненные и литературные судьбы поэтов, составляющих эту книгу. Рядом с участниками и свидетелями многих событий советской действительности 30—40-х годов стоят А. Гаврилюк и В. Монтвила, изведавшие тюрьмы панской Польши и буржуазной Литвы и совсем недолго дышавшие воздухом нашей страны. В сборник включен и писавший по-русски закарпатский поэт с необычной биографией Д. Вакаров, отчий край которого лишь после его смерти стал советским.

Если оборванный пулей жизненный путь некоторых стихотворцев был горестно короток, то еще короче оказывался их творческий путь. Едва начавшись, он трагически обрывался, прежде чем воин-поэт успевал сказать все то, что он мог и должен был сказать людям.

Для многих авторов настоящего сборника их последние строки слились с их последним подвигом, стали его продолжением.

Жизнь моя песней звенела в народе,  
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

Когда мы читаем эти строки, когда произносим имя их автора — Мусы Джалиля, в нашем сознании встает образ, в котором



неотделимы поэзия и борьба, героическое слово и героические деяния.

Мы мало знаем о последних часах и днях иных поэтов. Война не бережет документов и не щадит очевидцев. Тем дороже каждая сохранившаяся записка, каждый уцелевший блокнот, сбереженное письмо. Несомненный интерес представляют и дошедшие до нас своеобразные поэтические свидетельства военных лет, написанные отнюдь не профессиональными писателями. Поэтому мы сочли нужным дать место в сборнике поэту, погибшему в гитлеровском лагере Заксенхаузен. Имя его и поныне не удалось установить. Блокнот со стихами обнаружен в 1958 году при расчистке территории, на которой некогда находился лагерь. Произведения неизвестного автора, так же как стихотворная надпись, сделанная пленным А. Меркуловым на нарах гестаповского каземата в городе Крустпилс перед казнью, стихотворная клятва, обнаруженная в медальоне героически погибшего бойца Яковлева, письма-стихотворения гвардии лейтенанта Л. Розенберга — все это своеобразные памятники советской поэзии военных лет, человеческие документы, сила которых не ослабевает с годами. Глядя в глаза смерти, люди, не считавшие себя литераторами, обращались к стихам, чтобы сказать последнее слово.

Широта круга авторов всякой антологии вызывает обычно чувство удовлетворения. В данном случае такая широта отражает трагический размах военных событий и вызывает чувство скорби. Мы лишний раз убеждаемся: скольких талантов мы лишились, сколько еще могли сказать эти люди, каким значительным вкладом в литературу стало бы их дальнейшее творчество.

## 1

Вера в народ, в преемственность революционной традиции формировала молодых поэтов на трудном рубеже 30-х и 40-х годов. Без них, в то время начинающих стихотворцев, ныне нельзя составить сколько-нибудь полное представление о советской поэзии. Они были примерно сверстниками — Михаил Кульчицкий и Николай Майоров, Мирза Геловани и Елена Ширман, Микола Сурначев и Василий Кубанев, Хазби Калоев и Павел Коган, Георгий Суворов и Борис Смоленский... Они разнились мерой дарования, литературными пристрастиями и учителями, но были детьми своего времени, сумевшими взять от него все лучшее, светлое, чистое и пронести сквозь свою недолгую жизнь. Их первые стихи обычно

служили естественным отзвуком событий, будораживших юношеское воображение. Молодые поэты входили в жизнь, в литературу с ощущением своей неотделимости от страны с ее тревожной и величественной судьбой, от мира, охваченного предвоенным напряжением, от земли со всем ее богатством красок, запахов, звуков.

Борис Смоленский увлекался Гарсией Лоркой, мечтал о море, вглядывался в «ясные озерные глаза» Карелии. Еще мальчиком он вместе со своим отцом-журналистом ездил по стране, побывал в Сибири. В 1937 году по клеветническому навету арестовали отца, и Борису пришлось изведать все, что причиталось на долю сына «врага народа». Но это не сломило его, не убило интерес к жизни, веру в людей, искусство.

Шестнадцатилетним пареньком отправился в странствия Владислав Занадворов. Он рано определил свое призвание: геология и поэзия. Читая его певучие, раздумчивые стихи, полные не по годам мудрой и глубокой любви к Родине, чувствуешь — сколько бы еще он сделал, если бы смерть не подкараулила его в бою.

Все, что открывалось начинающим поэтом предвоенной поры в жизни, в людях, в учении, в книгах, вызывало живой интерес. Пятнадцатилетний Василий Кубанев признавался:

Как новы, как приятны мне  
Земные краски, страсти, звуки!

И в другом стихотворении того же 1936 года:

И молодеющую землю  
Я в этом облике одном —  
И незнакомом и родном —  
С восторгом трепетным приемлю.

Они были гражданственны с юных лет, гражданственны по духовному складу, внутреннему побуждению, наконец по литературной традиции, их питавшей. Поэтому, возможно, некоторые из них, судя по сохранившимся работам, отдали меньшую дань исканиям в области формы, чем иные начинающие поэты других поколений.

Одержимо увлеченные своим временем, они писали о нем с упоением романтиков, с молодым энтузиазмом создателей и бойцов. Они знали «одну, но пламенную страсть» — счастье народа, страны, человечества. И не сомневались: оно творится сегодня, к нему причастны не только их стихи, но и их повседневная работа. Это понимание счастья было никак не прямолинейное, не упрощенное.



В одном из писем Василий Кубанев размышлял: «...Счастье не только в радости. Счастье во всем: и в горе, и в скрежете зубовном, и в отрешенности, и в покаяниях, и в ошибках, и в каторжно тупой боли, которая взялась невесть откуда и душу собой глушит и давит. Счастье — в познании, в понимании... Только узнавая жизнь во всех ее проявлениях — в скорби, и в радости, и в грубости, и в мелкости, и в чуждости, и в страхе, и в нужде — во всем, можно быть счастливым. Мудрость в том, чтобы извлечь полезное из бесполезного, радость — из горя, знание — из незнания». И это писал человек, которому не исполнилось еще и двадцати лет.

Они жили с сознанием значительности всего происходящего на их глазах, с чувством величайшей ответственности, возложенной историей на их еще молодые плечи, с ощущением личной причастности ко всему создаваемому и творимому во имя народа.

Вот строки Михаила Кульчицкого:

Наши будни не возьмет пыльца.  
Наши будни — это только днёвка,  
Чтоб в бою похолодеть сердцам,  
Чтоб в бою нагрелися винтовки,  
Чтоб десант повис орлом степей,  
Чтоб героем стал товарищ каждый,  
Чтобы мир стал больше и ясней,  
Чтоб была на песни больше жажда.

Вот — Павла Когана:

Есть в наших днях такая точность,  
Что мальчики иных веков,  
Наверно, будут плакать ночью  
О времени большевиков.  
И будут жаловаться милым,  
Что не родились в те года,  
Когда звенела и дымилась,  
На берег рухнувши, вода.

Грубоватый, словно по-солдатски «печатающий» шаг стих Кульчицкого с его настойчивыми повторами и легкие лирические строки Когана, где те же будни окидываются задумчивыми взглядами «мальчиков иных веков», пронизаны общим сознанием необычности своего времени. В нем сомкнулись прошлое и будущее, героика вчерашнего дня и мечта, устремленная в завтра.





Кристо, ни писем тайных с желтым сургучом». С поразительной точностью, будто он сам все это видел (Майоров родился в 1919 году), воссоздается сцена ареста отца: пристав, штыком вспарывающий перину, худые, сторбленные спины солдат, отец, выплонувший в ладонь багровый зуб, какой-то бог, важно нахмуривший брови на выцветшей иконе, и мать, как птица, бьющаяся в рыданиях. Но это — не игра памяти, сберегшей все слышанное в детстве, это — возвращение к истокам во имя дальних дорог:

Мне стал понятен смысл отцовских вех.  
Отцы мои! Я следовал за вами  
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,  
Глаза мои не обожгло слезами,  
Глаза мои обращены на всех.

Они не во всем могли разобраться и не на каждый вопрос своего времени могли дать ответ. Но отвергали благодное созерцательство, умиротворенную расслабленность.

Всеволод Багрицкий спорил со своим «гостем» («Гость»), которого устраивают общие слова, готовые формулы, для которого тревожные раздумья и беспокойные стихи — «чепуха».

Они, конечно же, были романтиками, влюбленными в солнце, землю, земные радости. Юношеская мечта порой уносила куда-то в неизведанные края, манила удивительными приключениями, звала на дальние моря. И тогда рождалась «Бригантина», озорная и чуть грустная песня Павла Когана во славу странствий, смелости и риска, отвергающая комнатный уют и унылые комнатные разговоры. Но бригантина неизменно возвращалась к земным берегам. Мечта опускалась на землю. И не мельчала, не погружалась в уныние.

Сознание преемственности, революционная неудовлетворенность, постоянная жажда практических действий предохраняли и от ухода в заоблачные дали и от спокойного самодовольства.

Мирза Геловани в стихотворении, посвященном Ленину, говорит о силе, какую ему дает революция, вечно хранимый образ вождя:

И снова жизнь моя полна надежды,  
Усталость — прочь,

и я готов опять

Осуществлять задуманное прежде.

Не соглашаться,

пробовать, дерзать.

Кр 29297





Молодая поэзия отличалась неукротимой действенностью, духовной активностью. «Больше всего следует бояться безразличия, равнодушия, апатии», — писал Кубанев в одном из писем. «Самое страшное в мире — это быть успокоенным», — восклицал Михаил Кульчицкий.

В послевоенные годы приобрело известность стихотворение Павла Когана «Гроза», давшее название посмертному сборнику поэта. Столько написано стихов о грозе! Можно ли тут увидеть, сказать что-то заново, по-своему, не скатиться на привычный ряд образов и ассоциаций? Тем более, что восемнадцатилетний автор еще только начинал, еще только пробовал свои силы в поэзии. Но перечитайте стихотворение, и вы увидите: гроза у Когана не похожа на примелькавшиеся поэтические грозы. Целеустремленно и страстно отобранные приметы раздвигают рамки привычного символа. Они нагнетаются с нарастающим напряжением. Поэту по душе сокрушающая сила ветра и воды, стремительность и крутизна. Нет, гроза не должна уходить. А если она и уйдет, то туда, «где девушка живет моя». От этой неожиданно трогательной строки веет разрядкой, успокоенностью. А упавший выводок галчат — как бы осуждение пронесшегося вихря. Можно было бы радоваться воцарившейся тишине... Но стих неожиданно резко ломается, обнажая свой истинный смысл. Тишина не нужна, в ней — равнодушие. Подобно заклятию звучат венчающие стихотворение строки. Угол, нарисованный вначале, — антипод овала, олицетворяющего жизненную обтекаемость, умиротворенное безразличие:

Я с детства не любил овал,  
Я с детства угол рисовал!

Было бы бестактностью по отношению к памяти молодых стихотворцев, боявшихся, как бы их посмертно не «прикрасили и припудрили», приписывать им неодолимые победы, не видеть следы литературных влияний, ученической подчас еще зависимости от своих наставников. Не требуется большой проницательности, дабы обнаружить строки и рифмы, навеянные Маяковским, Тихоновым, Багрицким, Асеевым, Сельвинским, Пастернаком. Молодые поэты ненавидели любую ложь, в том числе и благостно возвеличивающую за гробовой доской; они мечтали остаться в памяти такими, какими были, — с корявыми, порой торопливыми строчками, с не всегда продуманными до конца мыслями, с не доведенными до точки спорами, со своими увлечениями и заблуждениями, со всем своим нехрестоматийным обликом.

Нет оснований преувеличивать заслуги рано погибших моло-



дых поэтов перед отечественной литературой, утверждать, что все написанное ими совершенно, что именно в них время обрело лучших своих выразителей. Еще опрометчивей было бы считать, что молодые составляли некую автономию внутри предвоенной литературы, что они видели и понимали нечто недоступное другим. Молодые поэты разделяли и настроения, и устремления, и заблуждения своего времени. Но нельзя не сказать об их отношении к существовавшему в искусстве тех лет довольно заметному направлению, в котором преобладало не отягощенное мыслями бодрячество, казенно-лозунговый оптимизм, чувства не столько глубокие, сколько показные. Это направление, отражавшее влияние культа личности, к счастью, слабо задело лишь становившихся на ноги поэтов, по крайней мере наиболее талантливых из них. Они поняли, скорее даже почувствовали, несоответствие подобного искусства своему сложному времени. Помогли хороший вкус, внутренняя культура, а главное — сознание сопричастности наиболее здоровым и плодотворным тенденциям советской литературы. На гладкие, облегченные строки хотелось ответить резким, режущим слух словом, размашистым оборотом, неотесанным прозаизмом, хотелось, по признанию М. Кульчицкого, чтобы свистели «наших стихов угластые кастеты».

Им не дано было разобраться во всех сложностях и трудностях своего времени, понять причины и корни иных противоречивых и мрачных явлений, огульной подозрительности, жертвой которой передко оказывались их близкие. Но наиболее глубокие и серьезные из них о многом тревожно задумывались, искали ответы на трудные вопросы и в некоторых своих произведениях (скажем, «Монолог» и роман в стихах П. Когана) касались острейших проблем тех лет.

Да и с дурными нравами, которые под воздействием культа личности насаждались в редакционно-издательской практике, они не желали мириться. Случалось, некоторые из них предпочитали не публиковаться, чем пасовать перед редакторским произволом. В одном из писем к родным М. Кульчицкий рассказывает, что в «Московском комсомольце» напечатали его стихи о Маяковском: «Но выбросили лучшую строфу и исковеркали две строчки. Сейчас меня мучает: продолжать ли работу над поэзией — или начать халтурить: легче и выгодней! Я (это большой вопрос всех моих друзей) железно решил, что это — последняя моя уступка сегодняшним поэтическим нравам». С сознанием собственного достоинства, с верой в свои силы Кульчицкий добавляет: «Мы сумеем войти в литературу — и поэтами, а не халтурщиками».



Недругами были не только халтурщики, но и всевозможные снобы, эстеты. Предстояло вести борьбу на два фронта, сохраняя свое лицо, отстаивая свои боевые принципы. В другом письме родным, относящемся также к апрелю 1940 года, Кульчицкий пишет: «Решали разную мелочь, вроде дисциплины этической и начала кампании против халтурщиков и эстетов. Лозунг: кастетом по эстетам». <sup>1</sup>

За образец в своем поведении и творчестве поэтическая молодежь брала Маяковского. И этот пример предостерегал от многих ошибок и оплошностей. О Маяковском писал едва ли не каждый из молодых. Его имя мы встречаем в письмах М. Кульчицкого, ему посвящено большое стихотворение В. Кубанева.

У них было настойчивое стремление прорваться стихом в завтра, стать необходимым людям грядущего, найти с ними общий язык. Обостренно чувствующие свое время, они старались заглянуть за линию горизонта. И если умели различить не все, то одно разглядели ясно — войну, одно услышали отчетливо: «военный год стучится в двери». Когда поезд еще не виден, его приближение предвещает напряженно-глуховатый звон рельсов. Надо только приложить к ним ухо. Вот так чутко и настороженно вслушивались молодые в свое время, улавливая издали доносящийся топот солдатского сапога войны. Они выросли, сформировались в предощущении боев, подвигов, походов. Это предощущение вошло во многие стихи, порой даже в самые мирные, далекие от военной темы. Вошло настолько органично, что иной раз и не знаешь, к разряду каких его отнести — «мирных» или «военных». И сами они не признавали такого деления.

Война стала рубежом, который отделил начинающих поэтов 40-х годов от последующих поколений.

Отступили споры, сомнения, скоротечные тревоги. Все накопленное, освоенное, пережитое — лишь преддверие грядущего, лишь подготовка к подвигу...

Погибший в 1942 году Павел Коган еще до войны, в ту пору, когда газеты пестрели сообщениями о «добрососедских отношениях с Германией», предвидел подвиг победителей Берлина, могилы на Шпрее. Он вспоминал московские праздники, допотопные грузовики, что возили детвору по нарядно разукрашенным улицам, вспоминал своих друзей в старых пиджаках, в валенках, остав-

---

<sup>1</sup> Выдержки из писем М. Кульчицкого взяты из рукописного архива поэта, собранного В. Швейцер.



шихся с довоенных (до первой мировой войны) времен и думал о смертельных боях на Шпрее, думал и верил:

Мальчики моей поруки  
Сквозь расстояния и изморозь  
Протянут худенькие руки  
Людям коммунизма.

Ветер далеких походов уже долетал до тесных институтских коридоров, где спорили и читали свои стихи молодые поэты.

Вот и мы дожили,  
Вот и мы получаем весточки  
В изжеванных конвертах с треугольными штемпелями.

Это писал Павел Коган в письме другу детства Жоре Лепскому, служившему в одном из гарнизонов Западной Украины, Жоре Лепскому — автору музыки к «Бригантине». Стихотворение так и называлось «Письмо». В нем были хорошо теперь известные строчки о поколении «лобастых мальчиков невиданной революции», чеканная биография поколения.

Война все ближе подбиралась к этому поколению. Она уже пристреливалась к нему. В марте 1940 года на Петрозаводском направлении погибли студенты Литературного института поэты Николай Отрада и Арон Копштейн. Весть об их гибели принес комсорг батальона Платон Воронько. В этом же батальоне служил Михаил Луконин, рассказавший впоследствии о героической гибели двух поэтов. После ранения вернулся с финской кампании еще один молодой поэт — Сергей Наровчатов.

Война, армия входили в жизнь поэтов, все настойчивее определяя их творчество и их судьбы. Кульчицкий как-то писал товарищу: «Читал стихи в одной из казарм одной из частей нашей Красной Армии. Когда я увидел тех, для кого я пишу, у меня застлало глаза, и это как было! Ведь я чего хочу — только чтоб все стихи мои впечатать в книгу подсумочного формата, пусть и с фамилией, пусть и так...»

Наступало понимание жестокости предстоящих боев, тяжести, которая выпадет на долю народа; возникало страстное и самоотверженное желание разделить эту долю, принять самое трудное, коль потребуется — смерть.

Революционно-патриотические мотивы неизменны в творчестве советских поэтов. Они всякий раз находят особые формы. Но мысль едина и едино восприятие жизни, самого в ней характерного: контраста новой реальности по сравнению со старым.

Вырабатывался новый тип поэта — активного общественного деятеля, строителя советского государства, советской культуры. Такими поэтами были многие из тех, о ком идет речь в этой статье, таким, в частности, был основоположник кабардинской поэзии Али Шогенцуков. За четыре десятилетия своей жизни — Али Шогенцуков родился в 1900 году и погиб в ноябре 1941-го — он столько увидел, изведал, сделал, что этого с лихвой хватило бы на несколько человек. Трудно назвать область культурной жизни Кабарды, в которой бы он не принимал участия. Народное образование и журналистика, разработка кабардинского алфавита и организация национального театра, радиокomitee и помощь начинающим литераторам. Но никогда Шогенцуков не выпускает из рук пера. Он создает стихи, поэмы, рассказы... А когда наступает час войны, идет на фронт.

В жизни и в поэзии А. Шогенцуков был неизменно верен клятве, провозглашенной им еще в 1924 году:

Учитель и отец народов, Ленин,  
Я на пути, завещанном тобой,  
В любви и ненависти неизменен,  
Неустрасим пред бурей любой!

У каждого из поэтов — своя судьба, свои победы, удачи, срывы, заблуждения. И не любая строка способна прорвать пелену лет, засверкать при свете сегодняшнего дня. Но в наследии каждого стихи о Ленине — самые страстные, самые искренние, а потому и самые живучие. И когда мы восхищаемся нравственной стойкостью поэтов, их мужеством и непреклонностью, то понимаем истоки этих достоинств. Верность ленинским идеям, идеям революции и коммунизма делала поэта борцом и гражданином, определяла его творческое лицо и общественный облик.

Если можно говорить о типичной биографии поэта, сформировавшегося в 20—30-е годы, то она почти всегда включала в себя учебу, практическую работу, журналистскую деятельность, поездки по стране. А едва прогремели первые выстрелы Великой Отечественной войны — фронт. Это подтверждается и биографиями поэтов, отдавших жизнь в боях за Родину, творчество которых не



представлено в настоящем сборнике (Владимир Аврущенко, Вячеслав Афанасьев, Андрей Угаров, Джусуп Турусбеков, Константин Реут, Андрей Ушаков, Абдула Жумагалиев, Александр Ясный и др.).

Леонид Вилкомир, талантливый журналист, не считал себя поэтом и не печатал стихов. Лишь сейчас, много лет спустя после его гибели, мы знакомимся с его стихотворениями, столь характерными для 30-х годов. Для поэта не существует жизни вне того, чем живет народ, что создается крепкими руками рабочих и крестьян. Самые простые повседневные дела вызывают восхищение и подъем, идущие от сознания своей кровной им сопричастности.

Как радостно видеть  
Готовый пролет,  
Первой вагранки литье  
И чувствовать, что ежедневно растет  
Настоящее дело мое!

В стихотворении «Горы» абхазский поэт Леварса Квициния вспоминает прежних певцов этих мест Лермонтова и Хетагурова, — они бы теперь совсем по-другому писали о некогда «немытой России», и Коста, восклицавший: «Плачьте, горы!» — сказал бы: «Ликуйте, горы!» Л. Квициния был талантливым и плодовитым поэтом. Все его творчество проникнуто восхищением перед своим временем, перед Родиной. Названия поэм и книг говорят о темах, волновавших поэта: «Ленин», «Ткварчелстрой», «Миллионы голосов», «Комсомол» и т. д.

Энтузиазм, окрыленность отличают поэтическое творчество поры довоенных пятилеток. С сердечным радушием, с неиссякаемым дружелюбием воспевал силу и мастерство человеческих рук, труд, преобразующий природу, Вадим Стрельченко. Это о нем говорил Юрий Олеша: «На примере Стрельченко можно еще раз установить, как важно для поэта иметь свою тему, знать, что хочешь сказать. Когда образы, сравнения, эпитеты, краски и мысли поэта бегут по струне единой темы, они приобретают особенную яркость: «хлопок и рис... эти нежные стебли труда». Если бы Стрельченко не был проникнут пониманием того, что человек благодаря труду преобразует природу, то у него не родился бы такой смелый образ, в котором само понятие природы заменено понятием труда».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «Литературная газета», 1948, 10 января.

Биография многое объясняет в творчестве, помогает понять, откуда приходят краски, слова, образы. Шестнадцати лет Вадим Стрельченко опубликовал свое первое стихотворение. В то время он был учеником одесской профшколы «Металл». Потом стал слесарем на заводе и продолжал писать. О чем? О кузнецах, о мельнице, о грузчиках, о своих товарищах. Он пристально всматривался в чудо слияния труда, пламени и металла, рождающее совершенство линий и форм, всматривался, мечтая о совершенстве поэтического слова.

С середины 30-х годов стихи Стрельченко появляются на страницах «толстых» столичных журналов, на полосах «Литературной газеты». К молодому поэту приходит популярность. Его строки привлекают свежестью, самобытностью поэтического строя, светлым мироощущением. Поэт радостно воспринимает жизнь, и радость эта от сознания своей общности с людьми, которых он считает друзьями.

В стихотворении «Хозяйке моей квартиры» поэт просит не вешать замок на его комнату: «Нужна ли мне ограда от всех моих друзей!» И не надо вешать картину, — лучше повесить ветку молодой акации. И не надо нести самовар, — лучше принести глобус. Хорошо, если б можно было расставить по углам пилу, кирку и весла!

Едва не каждое стихотворение Стрельченко — признание в верности и дружбе. Пусть ничто не разделяет людей — ни стены домов («Двери настезь», «Моя улица», «Человек», «Нет вестей, а почтальонов много...»), ни расстояния («Родине», «Люди СССР»), ни незнакомые языки («Приглашение в Туркмению», «Дорога на Фирюзу», «Ночная песня в Арпаклене», «Работники переписи»). В небольшом стихотворении «Смотрителю дома» поэт характеризует себя как человека,

...который всюду  
Славить будет землю и людей,  
На земле трудящихся, —  
Покуда  
Не земля — на нем,  
А он — на ней!

Перечитывая сборники Вадима Стрельченко, мы убеждаемся, что ему, как и большинству поэтов 30—40-х годов, были присущи и тревожные мотивы, связанные с угрозой надвигающейся войны. Он видел не только солнце, сияющее над землей, но и тени



винтовок, упершихся в землю; видел «солдата Европы» (так назывались стихи), которому лгут, уверяя, будто тень винтовки шире и выше дерева. Поэт хочет развеять обман, сгустившийся вокруг этого солдата, найти слова, переубеждающие его. Благородная вера в силу слова, способного остановить войну, а точнее — в силу интернационального братства, — одна из особенностей поэзии 40-х годов.

Поэзия, размышляя об истоках происходящего, нащупывала нити преемственности, звенья исторической цепи. И тогда современность обретала пространственную глубину. В одном из своих стихотворений Юрий Инге писал в 1941 году:

...Но все дела до нашего кануна  
Припомнили мы вражьему штыку:  
Твой эшафот, Парижская коммуна,  
И траур твой, истерзанный Баку.

Орды басмачьей шумные копыта,  
Столбы сосновых виселиц и плах  
И легкий прах расстрелянного Шмидта,  
Что мы несли на поднятых руках.

История — не перечень канувших в Лету дней, а современница и соучастница ныне происходящего. И не вообще история, а те ее гордые, пропахшие пороховым дымом, пропитанные кровью страницы, что повествуют о борьбе за свободу и справедливость. Им-то чаще всего и посвящал свои стихи Юрий Инге. Ему принадлежит поэма «Биография большевика», посвященная одному из организаторов петроградского комсомола Васе Алексееву, стихи о Кирове, Тельмане, о ветеранах революции, трагедия в стихах «Жан-Поль Марат». Но, как у всякого поэта, у Юрия Инге была своя, кровная тема, и куда бы ни уносила его живая, неумемная фантазия, куда бы ни бросала беспокойная судьба журналиста, он так или иначе, раньше или позже возвращался к тому, что манило с юности, с первых стихотворных опытов. Юрий Инге был певцом моря — морской романтики и морской отваги.

Сын портового служащего и внук лоцмана, он с детства увлекался Стивенсоном, бредил каравеллами и бригантинами. С годами каравеллы и бригантины уступили место торпедоносцам и подводным лодкам. Юрий Инге принадлежал к числу поэтов, исподволь, издавна готовивших себя к военному жребью. Еще в те годы, когда, казалось, не обязательно думать о штыке и бое, он написал стихотворение «Порох» (1933). В нем было свое, достаточно трез-

вое понимание времени и его перспектив. Ю. Инге — поэт многообразный, не чуждавшийся и сокровенно-интимной лирики. Но часто, очень часто даже в таких стихах у него звучала тревожная настороженность. Обращался ли он к любимой («Пограничная зона»), пел ли «Колыбельную» сыну, мысль его вырывалась за порог комнаты, всматривалась в будущее, угадывая в нем боевые грозы. Сегодняшняя и завтрашняя участь поэта и тех, кто ему всего дороже, неотрывны от этого грозового будущего. Достоверность ощущений, оправданность предвидений помогали Ю. Инге преодолеть книжную отвлеченность иных образов, сообщали лирике патриотическую гражданственность.

Знакомясь с творчеством поэтов, ставших впоследствии фронтовиками, мы замечаем, что нередко именно военная тема, предполагавшая сосредоточенность мысли, собранность чувства, строгость и целеустремленность, делалась школой поэтического мастерства — именно она учила отбирать весомое слово, отличать истинную романтику, подлинное мужество от литературной бутафории, книжной имитации. Война врывалась в предвоенную поэзию, нарушая свойственное ей порой бравурно-фанфарное звучание (в тех, разумеется, случаях, когда сами боевые стихи не грешили «шапкозакидательством» и не напоминали лихую барабанную дробь). Грядущие бои, неясные контуры которых едва угадывались в перспективе лет, заставляли требовательнее и суровее относиться к своему назначению поэта.

Это заметно хотя бы на примере двух дальневосточных поэтов — Вячеслава Афанасьева и Александра Артемова, дарование которых плодотворнее всего проявилось именно в военных стихах. Оба они писали о суровой и прихотливой природе Приморья, о тревожных пограничных ночах, чуткий сон которых нередко разрывали винтовочные выстрелы.

О, тишина границы роковая...  
Я напрягаю зрение и слух...  
Со мной моя винтовка боевая,  
И пес мой рядом, верный страж и друг!

Это писал Вячеслав Афанасьев. А Александр Артемов в стихотворении «Десант», напечатанном в июльско-августовском номере журнала «Знамя» за 1941 год, увлеченно рассказывал о боевом эпизоде, относящемся к советско-финской кампании. Оба поэта стали солдатами Великой Отечественной войны, оба героически погибли в боях. Случилось так, как предсказывал В. Афанасьев:



Застигнутый последней метой  
И не успев всего допеть,  
Благословлю я землю эту,  
Когда придется умереть...

Иногда среди погибших поэтов мы наталкиваемся на дарования такого мягкого лиризма, когда кажется: меж стихов о лесах и реках, о любви, свиданиях и расставаниях не встретишь набатных строк, рожденных памятью о боевом прошлом и мыслями о чреватом бурями настоящим. Но такое впечатление обманчиво. Истинному поэту не дано избежать кипений и тревог эпохи.

Сын крестьянина Тверской губернии Иван Федоров работал в Ленинграде столяром-краснодеревцем. А ночами писал стихи о родной природе, о бессмертном городе на невском берегу, о людях, возводивших его. Он умел увидеть «на листьях отблеск юности лучистой», заметить: «осина помахала красным платком косому клину журавлей»; умел с приметливыми деталями описать, как сельские ребята ловят рыбу. Но детство для него было не только вольготной радостью беззаботного существования. В стихотворении «Память о детстве» Иван Федоров с гордостью произносил:

Нам дорог берег, обретенный  
Отцами в схватках боевых.  
Котовский, Щорс, Чапай, Буденный —  
Герои сверстников моих.

В 1940 году Федоров написал небольшой цикл «После боев», навеянный недавними сражениями на Карельском перешейке. Цикл состоял из трех восьмистрочных стихотворений: «Танки ночью», «Водитель грузовика» и «Конница». Тонкий и раздумчивый лирик, он знал цену мужеству и цену победы:

Был воздух чище влаги родниковой  
(Два-три в году — так редки эти дни!) —  
Шла конница, притуплены подковы  
Об острые карельские кремни.  
Когда прошли по-боевому спору  
Два скорбных, неоседланных коня,  
Я шапку снял, — почтил бойцов, которым  
Не довелось прожить такого дня.

Среди подданных державы, именуемой «советской поэзией», были и такие, которые никогда не отделяли «служенья муз» от армейской службы. Одна из улиц Кронштадта носит имя Алексея Лебедева — моряка и поэта, о котором Николай Тихонов сказал: «Он любил море. Он ушел от нас в море, и море не возвратило его. Нам осталась только память о нем, память о талантливом поэте, сказавшем только первое свое слово, память о верном товарище и прекрасном бойце, преданном сыне родины».<sup>1</sup>

Откуда у паренька, родившегося в Суздале и проведшего детство в Иванове, со школьной скамьи неутолимая мечта о море? Любовь к литературе, к слову можно объяснить: мать, учительница, сумела привить сыну интерес к книге. Но почему подручный слесаря вдруг бросает гаечные ключи, молотки, зубила, едет на Север и становится матросом?

Алексей Лебедев успел выпустить две книги стихотворений. Это был поэт моря, флота, умеющий находить романтику в повседневных делах, составляющих корабельный быт, учебу, службу, способный опоэтизировать и ремонт шлюпки, и одежду моряка, и артиллерийские таблицы, и даже строевую подготовку. Артиллерийские и сигнальные таблицы, шлюпки и бескозырки никогда не заслоняли для него человека, создавшего флот и ведущего корабли. Свою первую книгу «Кронштадт» он открывал программным стихотворением:

Я хочу не говорить о водах,  
О штормах, летящих от Хайлоды,  
Я хочу сказать о мореходах,  
Побеждавших бешенство погоды.

О бойцах, изведавших глубины,  
Берегущих пушки и рули,  
Жгущих уголь, знающих машины,  
Выводящих в битву корабли...

Острый интерес к людям и флоту заставлял думать об их прошлом, проследить традиции, искать предтечи. Ведь здесь, на берегах Невы, на траверзе Гангута, у стен Кронштадта, творилась история. Сверкнул красный луч маяка, и в ночи фантазия поэта совершает чудо — вновь открывает гангутскую эпопею. И выходит галерный флот, и стучат весла, и Петр сбрасывает промокший камзол...

<sup>1</sup> А. Лебедев. Морская сила, Иваново, 1945, стр. 6.



Петр, Гангут, первые флотоводцы — это славное, дорогое, однако уже ставшее достоянием веков, почерпнутое из книг и только из книг. Но вот живое, словно бы увиденное собственными глазами — «Дорога таманцев».

Алексей Лебедев был певцом революционного героизма, революционных традиций нашего флота. Своей излюбленной теме он отдавался со страстью. Для него название известного фильма «Мы из Кронштадта» было исполнено высокого, нестарящего смысла. Он был счастлив тем, что мог про себя и своих товарищей сказать: «Мы из Кронштадта». Лебедев на все смотрел глазами моряка, поглощенного и увлеченного романтикой своей службы. И это была настоящая, пусть иногда несколько наивная поэзия. За ней вставал человек цельный и искренний, не допускающий разлада между тем, за что он ратует в стихах, и тем, чем живет.

### 3

Антифашистская война в Испании относится к событиям, которые задели, вероятно, каждого советского поэта. До сей поры поэзия, развивая один из своих ведущих идейных мотивов, обращалась к все более отдалявшемуся прошлому, к боям и походам гражданской войны; теперь история поставила ее лицом к лицу с новым жестоким врагом, угрожавшим не только революционному Мадриду, но и вождеденно мечтавшим о нападении на Советский Союз. Испанские бои стали предпольем для Великой Отечественной войны. Тема защиты советской Родины приобрела четко обозначившуюся антифашистскую заостренность.

С разной силой таланта и мастерства, но с неизменной верностью идеалам интернационального единства, с кровной заинтересованностью в победе испанского народа создавались стихи о сражениях, развернувшихся на Пиренейском полуострове. Географическая удаленность не ослабляла живого интереса и глубочайшей тревоги. Ни о чем в ту пору не писали с таким искренним волнением, как об Испании. Верность революции, идее пролетарского братства, мечта о лучшем будущем человечества — все слилось в святой теме Испании.

...Взорвали сон Гвадалквивира  
В крови погрязшая мортира,  
От крови черные полки.

Сонный Гвадалквивир и черные от крови полки — отталкивание от литературного образца в поисках злободневного образа... Лишь сейчас, по прошествии более чем двух с половиною десятилетий, извлекаем мы из старых блокнотов не публиковавшиеся прежде стихи Всеволода Лободы об Испании. Скромный и требовательный студент Литературного института не напечатал тогда вступление к циклу «Война». Видимо, цикл не был закончен.

Написанное в студенческие годы стихотворение Леонида Шершера об Испании называлось «Сны». Юношеская мечта о революционном подвиге, готовность отдать свое сердце бесконечно близким людям далекой страны, бьющейся с фашизмом, наполняет все существо двадцатилетнего поэта. Нередко именно испанскими стихами поэты внутренне готовили себя к грядущим боям. От охваченного пожарами Мадрида протягивались нити к будущим сражениям, угадывались завтрашние схватки, что ожидают нашу Родину, наш народ.

Убежденный антифашист Витаутас Монтвила, сам подвергавшийся в эту пору преследованиям буржуазных правителей Литвы, писал об Испании как о любимой стране, с ее борьбой связывал надежды на освобождение своей родины.

Способность искренне любить чужой народ, радоваться его радости, скорбеть его скорбью — и есть истинный интернационализм. Он-то и рождает такие стихи, как «Дом в Тортосе», — одно из лучших стихотворений Вадима Стрельченко.

Да и в богатом наследии Али Шогенцукова выделяется «Роза Пиренеев»: бои среди окутанных дымом и пылью мадридских окраин, почерневшие лица, запекшиеся губы и — краса Пиренеев, роза Сиерры... Поэзии дано сочетать несопоставимое. Восточная цветистость образов оттеняет мрачность сравнений, и взявшиеся за оружие дочери Испании встают перед нами во всем величии своего подвига.

От автора к автору, из стихотворения в стихотворение проходит мысль об Испании, о беззаветной борьбе ее народа как о решающем участке битвы за человечество.

Михаил Троицкий принадлежал к поэтам, в творчество которых Испания вошла продолжением, развитием одного из главных мотивов. Это и понятно. М. Троицкий по сути своей поэт армейский, военный, хотя красноармейцем он прослужил недолго, и круг его творческих интересов был завидно широк. Но армию Троицкий любил преданно, верно, до мелочей знал ее быт, военную технику и писал обо всем этом с удивительным проникновением. Он спосо-



бен был воспевать самое прозаическое занятие — чистку винтовки. В этом стихотворении были строки, помогавшие понять, как много значила для поэта армия, как прочно он к ней «прирос»:

О неудачах и обидах —  
Всё мелкое забуду я,  
Коль вижу — дружно в пирамидах  
Винтовок строится семья.

Глазами армейца смотрел Михаил Троицкий на события прошлого, черпая в них жизненный и боевой опыт, глазами армейца следил за уходящим в небо самолетом, за лесами «заветных наших строек». Таким подходом продиктовано и его взволнованное стихотворение «Испания». Самое тягостное для поэта, человека дела и борьбы, сидеть в тиши кинозала и следить, как на экране разворачиваются бои. Так зарождается и все более крепнет мечта о личном участии в бою с фашизмом. Даже не мечта — насущная потребность. Характер борьбы, ее масштабы разрастаются. Полем боя становится не только Испания, но и весь земной шар. Все народы, все человечество со своей многовековой культурой вступают в единоборство с самым страшным и ненавистным врагом — фашизмом.

В творчестве каждого поэта существуют стихи, которые можно считать этапными. Для М. Троицкого это несомненно «Испания» и написанное спустя два года большое стихотворение «Штыковой удар» — до мелочей достоверное предчувствие грядущей войны. Силой воображения поэт представил себе поле, «раскрытое, как ладонь», «разрывов черные объятия», почувствовал грозное напряжение современного боя, осознал цену победы. Пройдет еще немного времени, и в сорок первом году Михаил Троицкий подведет некий итог:

Всё было сказано когда-то.  
Что добавлять? Прощай, мой друг.  
И что надежней плеч солдата  
Для этих задрожавших рук?

Для Всеволода Лободы, Леонида Шершера, Вадима Стрельченко, Алексея Лебедева, Михаила Троицкого, для этих не похожих друг на друга поэтов, как и для многих их собратьев по стихотворному цеху, путь на Великую Отечественную войну начался стихами о войне в Испании. Тогда состоялось первое, хоть и заочное, знакомство с врагом; тогда впервые, хоть и приблизительно, обозначились размеры опасности, надвигающейся на Родину.

Испанским стихам, в том числе и помещенным в нашем сборнике,



нельзя отказать в искренности, горячности. Однако чаще всего перед нами запечатленные приметы событий, взволнованные отклики на события, но еще не осмысленное поэтическое их воплощение.

Испанская война — одна из самых трагических страниц в истории XX века. С испанскими сражениями связывались самые вдохновенные и благородные надежды. С небывалой силой вспыхнула вера в победу над угнетением и несправедливостью «в мировом масштабе». Революция вновь предстала в своем высшем проявлении. Ее интернациональная сущность получила новое действенное подтверждение. Но справедливая война испанского народа, за которой трепетно следило все человечество, все советские люди, которой посвящались стихи, написанные на десятках языков, — кончилась поражением, трагедией.

В поэзии конца 30-х годов все настойчивее утверждался бравурный тон, исключая трагедийность. Тон этот укоренялся исподволь и постепенно. Выступая против упадничества и маловерия, критика подчас ставила под сомнение право поэта на такие чувства, как тревога, тоска, на раздумья, — даже тогда, когда эти чувства и раздумья вызывались вовсе не унынием. Жизнеутверждение, которым от века дышала рожденная революцией поэзия, подчас получало прямолинейное, элементарное истолкование. В статье «Поэзия — душа народа» В. Луговской вспоминает: «Как-то А. М. Горький, прослушав мои стихи из второй книги «Большевикам пустыни и весны», сказал, задумчиво поглаживая усы: «А вы думаете, что единственное жизнеутверждающее чувство есть радость? Жизнеутверждающих чувств много: горе и преодоление горя, страдание и преодоление страдания, преодоление трагедии, преодоление смерти. В руках писателя много могучих сил, которыми он утверждает жизнь».<sup>1</sup>

Проблемы гражданственные, общественно значительные, остро волновавшие поэтов, нередко решались упрощенно, укладывались в традиционные, а иногда и просто шаблонные формы. Эти отрицательные для искусства явления связаны, как мы знаем, с усиливавшимся в предвоенные годы воздействием культа личности Сталина. Здесь нельзя ничего упрощать и делать поспешных выводов. Эмоциональный заряд создавался годами, и годами формировалось мироощущение поэтов. Постепенно один человек становился живым олицетворением самого дорогого и близкого. Советская поэзия, родившаяся на гребне высочайшего народного подъема, порой слабо ощущала народную жизнь, повседневные свершения народа.

---

<sup>1</sup> «Литературная газета», 1957, 9 мая.





Мы запретим декретом Совнаркома  
Писать о Родине  
бездарные стихи.

В те же дни та же тревога, та же, вплоть до словесных совпадений, мысль — у ростовской поэтессы Елены Ширман. И та же надежда на декрет Совнаркома. Конечно, вера в усовершенствование поэзии с помощью декретов — наивность, но наивность, типичная для своего времени. Трактовать ее не следует буквально. Декрет Совнаркома — это воля народа, жаждущего одухотворенных и страстных, неостывающих слов о Родине — слов, способных стать оружием в жестоких боях.

4

С того зловещего предрассветного часа, когда над нашими городами и селами впервые раздался натужный вой гитлеровских бомбардировщиков, советская поэзия объявила себя «мобилизованной и призванной» на защиту Родины. И верно несла солдатскую службу до минуты, пока не прозвучал последний выстрел Великой Отечественной войны.

Это было трудное время. По зову Коммунистической партии советские люди поднялись на бой, в котором решался вопрос жизни и смерти Советской Отчизны. Писатели, не ограничиваясь творческой деятельностью, принимали непосредственное участие в боевых операциях, с оружием в руках отстаивая Родину. Более тысячи советских литераторов стали бойцами, командирами, политработниками, военными корреспондентами, около трехсот из них отдали жизнь в кровопролитных сражениях.<sup>1</sup>

С первых дней войны изменились условия творчества и не мог не измениться его характер. Стихи, очерки, поэмы, рассказы создавались в землянках и траншеях, в недолгие часы фронтового затишья. Здесь же, рядом с писателем, находился его читатель и его герой. Быстрота реакции, оперативность, которую предполагали боевые обстоятельства, становились требованием, распространяемым и на творчество писателей-фронтовиков. «День на передовой, вечер в пути, ночь в землянке, где при тусклом свете копилки писались

---

<sup>1</sup> См.: «Советские писатели в Великой Отечественной войне». Библиографическая хроника. Составители А. Аскольдов, А. Коган, Т. Конопацкая, Л. Левицкий, Л. Медне. — «Новый мир», 1958, № 2, стр. 196.



стихи, очерки, статьи, заметки. А утром все это уже читалось в полках и на батареях».<sup>1</sup>

Надо было писать очень быстро, надо было находить форму, обеспечивающую максимальную доходчивость, доступность написанного. В поэзии преобладает короткое, лозунгово броское стихотворение, обращенное непосредственно к солдату, прославляющее его мужество, зовущее на новые подвиги. Как правило, всем хорошо знакомая разговорно-газетная лексика, простота и точность рифмы, термины, пришедшие из военного дела и фронтового быта. Мысль исчерпывается текстом, формулируется с определенностью боевой команды. Стихотворение-призыв, стихотворение-разговор, когда идея предельно концентрирована, характерны для боевой поэзии, особенно на первом этапе войны.

Фронтная поэзия не теряет многообразия жанров, арсенал ее богат: здесь и лирические стихи, и поэмы, и раешник, и эпиграммы, и патетические обращения, и гневные призывы. Война не стерла поэтические индивидуальности, не причесала их на один лад, не выровняла по ранжиру.

Нередко боевая задача предопределяла выбор жанра, поэтику. Нужна листовка в стихах — писалась листовка, требовалось четверостишие к плакату или стихотворный фельетон — писались четверостишие и фельетон. Поэзия выступала непосредственной союзницей боевого оружия, она стремилась стать ближе солдатам, быть им необходимой, как воздух, как хлеб, как винтовка и снаряды. Опытные поэты не чуждались заметок и стихотворений в «Боевых листках». Юрий Инге не без гордости говорил:

Годы пролетят. Мы состаримся с ними.  
Но слава балтийцев — она на века.  
И счастлив я тем, что прочтут мое имя  
Средь выцветших строк «Боевого листка».

Подобно тому как Советская Армия в боях овладевала воинским искусством, советская поэзия осваивала войну, внимательно всматривалась в человека, ведущего бой. Поэты познавали непривычную обстановку, словно бы обживались в ней. Это особенно заметно в стихах 1941 года. Вот одно из них, принадлежащее Борису Кострову:

Только фара мелькнет в отдаленье  
Или пуля дум-дум прожужжит —

---

<sup>1</sup> Алексей Сурков, На дорогах войны, «Литературная газета», 1945, 5 мая.

И опять тишина и смятенье  
Убегающих к югу раки... .

Но во тьме, тронув гребень затвора,  
От души прокликает связист  
Журавлиную песню мотора  
И по ветру чуть слышимый свист.

Ну а я, прочитав Светлова,  
Загасив в изголовье свечу,  
Сплю в походной палатке и снова  
Лучшей доли себе не хочу... .

Обострены слух, зрение. Глаз ловит отсвет далеких фар, ухо — свист пули. Кажется бы, обстановка не для поэзии. Но нет, под рукой — томик любимых стихов. А главное: «лучшей доли себе не хочу». Совсе не минутным затишьем порождено это чувство. Оно от уверенности — здесь, в походной палатке, мое законное место. И если через мгновение артиллерийские разрывы нарушат тишину, если взрывная волна сорвет палатку, поэт все равно не захочет «лучшей доли».

В стихотворении Кострова приметы войны перемешиваются с приметами исконно мирными. Война еще только входит — и не совсем уверенно — в стих. Мотор, напоминающий журавлиную песню, томик Светлова, свеча в изголовье — все это словно бы свидетельствует о временности, относительности, нестойкости фронтового быта.

Но время идет. И поэзия как бы прорастает в этот быт, углубляется в его подробности, с заинтересованностью вглядывается в них, пробует на ощупь. Землянка, шинель, махорка, вещевой мешок, сапоги — все это, оказывается, может стать предметом поэзии, может немало рассказать о бойце, о его жизни и фронтовой судьбе.

Портянки сохнут над трубой,  
Вся в инее стена... .  
И, к печке прислонясь спиной,  
Спит стоя старшина... .

Это стихотворение Бориса Кострова, датированное 1943 годом, воссоздает обыденную, ничем не примечательную жанровую сценку. Ночью, в стужу, старшина привез кухню. Он не поверил на слово командиру и решил сам убедиться, все ли бойцы накормлены. Пересчитал и тут же заснул, стоя у печки. Но Костров рас-



сказывает не только о человеческой доброте и внимании, бесценных на фронте. Он кончает стихотворение строками, трагизм которых особенно силен, ибо строки эти произнесены все так же ровно, будто вполголоса. Старшина привез обед уже убитым бойцам:

Они снежком занесены  
И не придут назад.

Для нашей военной поэзии чрезвычайно характерно стремление точным и негромким словом передать напряжение и трагизм боя, внутреннее состояние бойца. На этот процесс в свое время обратил внимание Алексей Сурков: «Не надо пытаться перекрычать войну. Чтобы живой человеческий голос не затерялся в хаосе звуков войны, надо разговаривать с воюющими людьми нормальным человеческим голосом. Но голос этот будет услышан, если говорящий и пишущий стоит близко, у сердца воющего человека. Достаточно даже беглого знакомства с тем лучшим, что создано советскими поэтами во время войны, чтобы заметить упорное стремление их к максимальной искренности и правдивости поэтического образа, а в стиле и в тональности стиха — стремление к переходу от громогласной выпренности тона к уравновешенной классической простоте и ясности поэтической строки. Именно этим своим качествам обязана советская поэзия своей невиданной популярностью у читателя в дни Великой Отечественной войны».<sup>1</sup>

Война стала школой человеческой и поэтической зрелости, она выявляла истинную цену слова и дела, обещания и поступка, помогала понять истоки победы и причины некоторых неудач.

Сейчас, на расстоянии, нам особенно заметно, как культ личности, отрицательно сказавшийся на ходе военных действий, подчас сужал горизонты фронтовой поэзии, притормаживал ее развитие. С чем, как не с упованием на блистательно быструю победу, с известными сталинскими лозунгами о двойном ударе на удар поджигателей войны, о войне, которая будет вестись лишь на территории противника, и т. п., связано громогласно-живописное изображение боя?

Разрыв между декларированным и случившимся подчас вызывал растерянность, недоумение. Поэт из лучших побуждений порой пытался заглушить их громкими возгласами, живописной выпренностью. Иллюзорные представления предполагают свой поэтический строй, реальность — свой. Спор между ними неизбежен.

<sup>1</sup> Алексей Сурков, Советская поэзия в дни Отечественной войны, Стенограмма публичной лекции, М., 1944, стр. 12.





С присущей ему категоричностью и прямотой М. Кульчицкий отвергает фейерверочное изображение войны.

Разумеется, в данном случае следует иметь в виду не только Кульчицкого. В его стихах, быть может, определеннее, чем у других авторов, отражен процесс, характерный для фронтовой поэзии, он сформулировал то, что почувствовали и осознали многие стихотворцы. Тема приобретает соответствующую ей строгость выражения. «Когда имеешь с ней дело, — писал критик В. Александров о теме боя, — должны отпадать малейшие помыслы о литературном эффекте».<sup>1</sup>

Представление о войне как о повседневном труде само по себе, разумеется, еще не гарантировало от погони за литературными эффектами. Нельзя забывать: фронтовые поэты в большинстве своем были молоды, их литературный стаж нередко исчислялся месяцами, несколькими годами. Неудивительно, что у них попадают стихи, в которых нет-нет да и даст себя знать наигранная, не чуждая рисовке мужественность, подчеркнутая безбоязненность в подборе метафор, стремление поразить «находкой», пусть даже натуралистической, зоркостью и остротой собственного наблюдения.

Некоторые фронтовые стихи, в частности В. Занаворова, М. Кульчицкого да и других поэтов, полемичны своей образной системой. Сравнения и уподобления здесь подчас не совсем обычные (защитные пуговицы шинели «вроде чешуи тяжелых орденов»). Непривычность образа передает тяжесть солдатского марша по раскисшей глинистой пахоте. Здесь каждый грамм — груз. И вот об этом-то прежде всего и хочет сказать поэт, сам не раз проделавший такой марш.

В. Занаворов, возражая: война — «вовсе не дымное поле сражения», протестует против чисто внешнего воспроизведения боя. Он хочет говорить именно о человеке, о том, что выпадает на его долю, поэтому он пишет о юности, истлевшей в окопах, о блиндажном песке, о головной боли, о грязных разбитых дорогах, — но все это ему важно не само по себе, а потому, что не может ослабить и остановить человека, выполняющего свой долг. Поэзия не желает ничего сглаживать и смягчать. Она умышленно делает упор на трудности неприветливой фронтовой жизни, на холод, грязь, липнущую к сапогам, неприютность окопных ночевок.

Опыт фронтовой поэзии подтвердил: нет незначительных тем. Все дело в творческом осмыслении, в умении за простым фактом или обыденной вещью увидеть человека, мир его чувств и мыслей.

<sup>1</sup> В. Александров, Фронтовые рукописи, «Новый мир», 1963, № 2, стр. 34.

Утверждение жизненной правды, реалистических представлений, конечно же, не означали измельчания поэзии, превращения ее в окопное бытописание. Да, ее герой принимал на свои плечи груз невиданной тяжести, его солдатский путь оказался труднее и длительнее, чем можно было предположить; он потребовал сверхчеловеческого напряжения физических и духовных сил, — но герой не терял цели, во имя которой долгих четыре года шел дорогами гоины. И поэзия тоже не теряла ее. Даже в самые мрачные минуты она не знала отчаяния и уныния, даже перед лицом смерти отвергала жертвенность.

Меня сегодня пуля миновала,  
Сердцебиенье успокоив мне,  
И в тот же час в лесу закуковала  
Веселая кукушка на сосне.  
Хорошая народная примета:  
Нам жить сто лет, напополам деля  
Всю ярость бурь и солнечного света,  
Чем так богата русская земля.

Строки эти на берегу Северного Донца написал командир стрелкового взвода лейтенант Владимир Чугунов, жизнелюбивый поэт-сибиряк. Он умел писать о труде, о природе, во всем находя светлое, радостное:

И вот сосна совсем по-человечьи  
Навстречу людям ветви подала,  
Чтобы при новых и счастливых встречах  
Под нею наша молодость цвела.

В его стихах люди, реки, леса жили общей радостной жизнью. И если сосна по-человечьи протягивала руки навстречу людям, то и они не оставались у нее в долгу. Чугунов рассказывает о веселых ребятах, которые принесли к сосне свои песни.

Таким Владимир Чугунов остался и во время войны, не по-мрачнев, не изменив своему жизнелюбию. Это был оптимизм бывалого человека, верящего в людей, в справедливость, в армейское товарищество. И его стихи, прочные, крепкие, светлые, как крестьянские дома в Сибири, распахнуты навстречу боевым друзьям. До последней минуты Владимир Чугунов радовался жизни, голубешему после боя небу... Он погиб в атаке, сжав в руке пистолет. На деревянном обелиске друзья написали:

«ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ —  
ВОИН — ПОЭТ — ГРАЖДАНИН,  
ПАВШИЙ ПЯТОГО ИЮЛЯ 1943 ГОДА».



Фронтальная поэзия поражает щедростью мотивов, обилием красок. Бой не заглушил исконной поэтической темы — темы любви. Наоборот, усилил ее, придал ей новое звучание, обостренное и страстное.

В военных стихах рядом с образом солдата встает образ любимой. В нем воплощена мечта о счастье, победе, возвращении домой. Личное счастье немислимо вне счастья Родины. В лирических стихах человеческая судьба нерасторжимо переплетается с судьбой Отчизны.

Фронтальная поэзия сочетает в себе предельную искренность и мужественную сдержанность. Обращаясь к любимой, воин-поэт порой избегает говорить о походных тяготах, о смерти, которая подкарауливает его за каждым бугром, за углом каждого дома.

Лежит он, как витязь,  
В потоптанном жите.  
Родную увидите —  
Не говорите, —

просил товарищей молодой белорусский поэт Никола Сурначев в стихах, написанных незадолго до смерти (он погиб в апреле сорок пятого под Берлином).

Они часто пишут о разлуке, пишут откровенно и целомудренно. Их не оставляет мысль о любимой, ее образ стоит перед глазами, помогая перенести все мучения, все невзгоды.

Великая Отечественная война опровергла пословицу, утверждавшую: когда говорят пушки, молчат музы. Музы не молчали. В военное время поэзия расцвела, стала голосом народа, поднявшегося на священный бой. Гитлеровская пропаганда, пытаясь объяснить подъем советской военной поэзии, изощрялась в самых нелепых предположениях. Ольга Берггольц вспоминает эпизод, относящийся к периоду осады Ленинграда: «Однажды мы поймали специальную передачу, которую фашисты посвящали Ленинградскому радио. Отмечая огромное количество передающихся по радио стихов, они с самым серьезным видом утверждали, что написать это сейчас невозможно и что все эти стихи были заготовлены Ленинградским радио... за три года до войны! Нелепость этого утверждения была даже не смешна, а как-то жутковата».<sup>1</sup>

В осажденном Ленинграде, изнуренном артиллерийскими обстрелами и голодом, беззаветно работали военные поэты. Здесь не-

---

<sup>1</sup> «Литературная газета», 1957, 15 октября.

надолго, но ярко вспыхнул талант Георгия Суворова, прожившего на свете всего двадцать пять лет. Когда смотришь на фотографию и видишь этого добродушного и лукаво улыбающегося юношу с лейтенантскими кубиками в петлицах, трудно поверить: неужели он действительно изведет все, что дано изведать на войне. А между тем это так. Под Ельней Суворов был ранен в грудь и сам вырвал осколок. Лежал в госпитале, вернувшись в строй, командовал взводом противотанковых ружей. Гвардейскую часть, где он служил, бросали на самые опасные участки Ленинградского фронта. На войне, в блокадном Ленинграде, Суворов почувствовал себя поэтом и стал им. Но первая и единственная книга стихов Суворова «Слово солдата» вышла уже после его смерти.

Эти стихи и воспоминания товарищей восстанавливают обаятельный облик одаренного поэта и бесстрашного офицера. Николай Тихонов, познакомившийся с Георгием Суворовым в военном Ленинграде, пишет: «Он любил свой далекий сибирский край, любил рассказывать про кедровые леса, про скалы над быстрой рекой, про охотничьи тропы, про охотников и золотоискателей... Он писал стихи в блиндажах, в окопах, перед атакой, на отдыхе под соснами, расщепленными осколками бомб и снарядов. У него не было времени отделять стихи, не было времени думать об отвлеченных темах. Он писал свои строки, как дневник о непрерывной борьбе с врагом, писал с предельным волнением патриота, настоящего сына замечательной Родины, с упорством молодого большевика, с жаром подлинного энтузиаста. Он влюбился в Ленинград горячей юношеской любовью. Он обходил его улицы и сады в редкие дни отпуска, и столько хорошего было в этом юном сибиряке, столько пылкости и нерастраченных сил!»<sup>1</sup>

Г. Суворов пишет о том, что ему ближе всего: Сибирь, Ленинград, фронт. Он не признает лишних слов и жестов. Убедительнее всего сейчас дело, поступок, подвиг. Это должны понять и современники и потомки.

Мы стали молчаливы и суровы.

Но это не поставят нам в вину...

За такой молчаливостью — нерастраченное духовное богатство, неутолимая жажда познания, неисчерпаемая доброта. Поэт словно впитывает в себя окружающий мир и возвращает миру свой стих.

Суворов не раз видел, как умирают на поле боя, и не однажды писал об этом — немногословно, строго:

---

<sup>1</sup> Георгий Суворов, Слово солдата, Л., 1954, стр. 4.



Боец встает. Огонь. И, тих,  
Он падает у вражьих дотов.

В одном из стихотворений Суворов рисует поле сражения. Он все видит глазами бывалого командира, знает, каково подняться из насиженного окопа, каково слышать постылый свист осколков. Он смотрит вокруг «усталыми глазами», опаленными огнем и дымом. Но среди воронок взгляд останавливается на чудом уцелевших безрезках. Значит, несмотря на кровь и смерть, жизнь торжествует. Он восторженно любит цветы, принесенными в блиндаж: «Я пьян цветами». Война не погасила их неистовое пламя. Но цепь радостных ассоциаций вдруг обрывается:

.. Как кровь пунцовая соколя,  
Как память павших здесь в бою  
За жизнь, за Родину свою, —  
Они цветут на этом поле.

Здесь, в окопах, прижатых к Неве, он оставался охотником, таежным жителем. Он бродил по ленинградским улицам, его сумка была набита книгами любимых поэтов, он ходил в атаку и отбивал атаки немецких танков. Но всегда в нем жила стойкая память о таежных чащах, звериных тропах, память о «золотоликой Сибири». Нежданно-негаданно здесь, под Ленинградом, поэт увидел на заре косача:

Земляк! И предо мною голубые  
Встают папахи горных кедрчей,  
Как бы сквозь сон, сквозь шорохи лесные  
Я слышу ранний хохот косачей.

Он не сводит глаз с полуденных крыл и не поднимает винтовку: «Охотник я. Я знаю толк в приметах — кто птицу бьет, тот зверя не убьет».

Георгий Суворов умел наблюдать жизнь. Зорче всего он присматривался к своим окопным друзьям, ловил каждое их слово, в их честь слагал свои стихи, сурово сосредоточенные и возвышенные одновременно. Его поэзия — как рука, протянутая товарищу.

## 5

В первые дни и месяцы войны, а также летом 1942 года фронтовая обстановка складывалась не в нашу пользу. Приходилось оставлять врагу города и села — землю, пропитанную потом и

кровью. Отступление подчас сопровождалось паникой, вызывало растерянность. В таких условиях, как никогда, возрастала роль поэтического слова, вселявшего уверенность в победе, звавшего к стойкости и героизму. Надо было уметь сказать горькую правду так, чтобы она не парализовала, а воодушевляла. Николай Тихонов писал: «Мы не хотим скрывать ни дней тягостного отступления, ни дней жестоких боев, ни огромного напряжения сил страны на пути к победе... Правда о войне — это рассказ, который должен потрясти души и сердца, раскрыть все моральные богатства, всю глубину могучего духа советского человека».<sup>1</sup> Чтобы создать такой рассказ, найти такое слово, писатели должны были испытать из той же чаши бедствий и невзгод, что и солдаты.

Поэты и прозаики в солдатских шинелях проделали вместе с армией горестный путь отступления и на этом пути еще более сроднились с бойцами и командирами, еще острее почувствовали значение своего труда. Это помогало создавать призывно звучащие произведения, исполненные веры в советского человека, в его готовность достойно перенести ни с чем не сравнимые трудности.

Биография каждого из погибших поэтов — волнующий рассказ о слитых воедино жизни и творчестве; о творчестве, одухотворенном высокой целью. Мы не знаем всех биографических фактов, но знаем источник силы, поднимавшей на подвиг, диктовавшей патристические строки.

«Я очень люблю жизнь... — писал с фронта Павел Коган, — но если б мне пришлось умереть, я умер бы как надо. В детстве нас учили чувству человеческого достоинства. И мы не можем разучиться, как не можем разучиться дышать».

Человек с большим сердцем, Джек Алтаузен трижды с оружием в руках вырывался сам и выводил людей из окружения и плена, поднимал бойцов в атаку. Одним из первых писателей-фронтовиков он был награжден орденом Красного Знамени.

Подобно легенде звучат факты, относящиеся к последнему периоду жизни Мусы Джалиля. Они собирались по крупинкам, и каждый служил новым штрихом в портрете героя-поэта. Когда война подходила к концу, в апреле 1945 года, солдаты, сражавшиеся за Берлин, случайно нашли в Моабитской тюрьме записку: «Я — известный татарский поэт Муса Джалиль. Меня казнят за подпольную борьбу с фашистами... Прошу передать мой последний привет друзьям, родным...» Через некоторое время бельгийский

---

<sup>1</sup> Отечественная война и советская литература. — «Большевик», 1944, № 3-4, стр. 26.



антифашист Андре Тиммерманс прислал из Брюсселя предсмертные стихи своего друга и соседа по камере Мусы Джалиля. Так началась вторая жизнь Мусы Джалиля, числившегося в списках пропавших без вести.

В июне 1942 года в боях на Волховском фронте тяжело раненый в грудь старший политрук Муса Джалиль попал в плен. А затем — лагеря: Холмский, Демблинский, Вустрау. Весной 1943 года в лагере под Радомом (Польша) Муса Джалиль возглавил подпольную организацию военнопленных. Гитлеровское командование намеревалось восполнить огромные потери в своих войсках легионами из пленных нерусской национальности. Ему навстречу поспешили холоуи из числа эмигрантов-националистов. Муса Джалиль решил воспользоваться планами гитлеровцев и затеей националистов. В комитете ему поручили «культурное обслуживание». «Меня хотят послать в легион, — сказал Джалиль одному из товарищей. — Уж там-то я найду для себя работу». Это были не слова. Легион, сформированный под Радомом, восстал по дороге на фронт. Пополнение получили не гитлеровские войска, а партизаны. Потом восстал следующий легион. Фашистам пришлось двинуть войска на его подавление. Охваченные яростью гестаповцы с помощью предателя раскрыли конспиративную организацию. Подпольщики, и среди них Муса Джалиль, были арестованы. Джалиля заковали в кандалы, бросили в зловещий гитлеровский застеноч Моабит. Начались пытки, издевательства, избиения. Окровавленный, возвращался Муса Джалиль с допросов и доставал блокнот. Когда конец уже был близок, Джалиль передал стихи А. Тиммермансу. В завещании было сказано: «Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно, внимательно перепиши их набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань, выпусти их в свет как стихи погибшего поэта татарского народа...»

Муса Джалиль мечтал, чтобы его стихи, созданные в глухой тюремной камере, дошли до Родины, жили в народе. И они живут. Они переведены на немецкий язык; их читают в странах народной демократии; Луи Арагон перевел их на французский язык. Подвиг и поэзия Героя Советского Союза Мусы Джалиля стали достоянием великого множества людей.

Мы перечитываем стихи, листаем документы, воспоминания, письма, и перед нами словно проходят погибшие герои. Мы видим их последние шаги, слышим их последние слова. «...Немцы наступали колоннами, поддержанные огнем из самоходной пушки «Фердинанд», — говорится в наградном листе на гвардии сержанта Бориса Котова. — Расстреляв запас мин, сержант Котов воору-



жился винтовкой и гранатами, бросился на немцев и вступил в рукопашный бой. Уничтожая врагов гранатой, винтовкой и прикладом, т. Котов наводил панику в рядах противника и, когда немцы подались назад и обратились в бегство, преследовал врагов. Своей храбростью Котов увлекал за собой остальных бойцов. Осколком мины т. Котов был убит. Он пал смертью храбрых в борьбе за свою Родину...» В наградном листе описан последний бой Бориса Котова на днепровском плацдарме, принесший ему посмертную славу Героя Советского Союза.

Но Борис Котов был не только отчаянно смелым сержантом, он был взыскательным поэтом, чьи стихи ценили донбасские шахтеры. Быт шахтерский, праздники и будни — все это было исполнено для Бориса Котова высокого смысла. Обо всем этом он слагал стихи и песни. Читая Котова, видишь, как совершенствовалась его поэзия, вызревала мысль, полновеснее становилось слово, полновзвучнее рифма. Он был настойчив в поисках, упорен в труде, не разрешал себе довольствоваться легкой удачей. Борис Котов пробовал силы и в прозе, однако, верный своему требовательному отношению к литературе, не спешил публиковаться. В последних стихах, написанных ровно за месяц до смерти, в последней их строчке, Борис Котов произнес дорогое ему слово «Донбасс»...

О гибели новосибирского поэта Бориса Богаткова поведали его товарищи по оружию. Это было 11 августа 1943 года. Шел бой за Гнездиловскую высоту, прикрывающую подступы к Спас-Деменску. Захлебнулась одна атака, вторая. И тогда гвардии старший сержант Борис Богатков поднял своих автоматчиков и снова бросился вперед. Наша пехота ворвалась во вражеские окопы. Но закреплялась в них уже без Богаткова. Он пал в бою.

Вся недолгая жизнь Бориса Богаткова — устремление к этому последнему подвигу. С началом Великой Отечественной войны Богатков пошел в армию. О том, как он сюда стремился, рассказывает стихотворение «Наконец-то!», посвященное повестке-вызову на призывный пункт.

Богаткову не повезло. Вскоре при налете вражеской авиации он был тяжело контужен и демобилизован по состоянию здоровья. В 1942 году Богатков вернулся в Новосибирск, где жил одно время до войны. Но мысль о возвращении в армию не оставляла его. Он пишет стихи о прощании на вокзале, об эшелоне, мчащемся к фронту. И обивает пороги военкоматов. После долгих хлопот Богатков добился своего. В начале 1943 года его зачисляют в Сибирскую добровольческую дивизию...

Среди погибших поэтов были такие, которые, подобно Мусе



Джалилю, встретили смерть в глухом фашистском застенке, а перед смертью познали предательство, пытки, мучения. Но не поступились своим достоинством гражданина, до последнего дыхания были верны тому, что воспевали в стихах. И гибель их стала продолжением их песен во славу Родины.

Микола Шпак, сын крестьянина, рано и успешно начал свою поэтическую деятельность. Еще юношей, в 1928 году он напечатал первые стихотворения, а потом, один за другим, стали появляться его сборники. Он принес в поэзию запахи колосющегося поля, разнотравья, трудового пота. При всей своей лучезарности поэзия Миколы Шпака вовсе не благодушна. Поэт всегда помнит:

...Но свобода человеку,  
Ох, и трудно достается —  
За свободу платят кровью,  
Жизнью платят все народы.

Рядом со стихами о созидании и привольном счастье у Шпака встают стихи о походах, боях, героях гражданской войны. Прощаясь с друзьями после срочной службы в армии, поэт говорит:

Снимаю звездочку с фуражки,  
Но воиню останусь навсегда...

Верный своему слову, Микола Шпак в самом начале войны добровольно пошел в армию. Он участвовал в обороне Киева и здесь попал в окружение. Но не сложил оружие. Шпак пробирается в родное село Липки, сколачивает из молодежи партизанскую группу, ведет активную подпольную работу. Группа собирает оружие, рассказывает правду о положении на фронтах, распространяет сводки Совинформбюро, а также воззвания, листовки и сатирические стихи, подписанные Пилипом Комашкой. Под этим псевдонимом скрывался Микола Шпак. Созданное им в подполье составило в дальнейшем книгу «К оружию!», названную так по одному из самых сильных стихотворений.

Но и охваченный праведным гневом, Микола Шпак оставался лириком. Он писал стихи, полные сердечного сочувствия к людям, обреченным на муки оккупации («Украинские дивчата», «Ой, раина<sup>1</sup> в неволе...», «Матери друга»). Он не устал напоминать:

И крепко мы верим,  
И твердо мы знаем,

---

<sup>1</sup> Раина — пирамидальный тополь.



*Николай Майоров*



## НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

---

Николай Петрович Майоров родился в 1919 году в семье ивановского рабочего. Еще в десятилетке начал писать стихи, которые читал на школьных вечерах, публиковал в стенной газете. Окончив в Иванове школу, переехал в Москву и поступил на исторический факультет МГУ, а с 1939 года стал кроме того посещать поэтический семинар в Литературном институте им. Горького. Писал много, но печатался редко, да и то, как правило, в университетской многотиражке.

Руководитель поэтического семинара П. Г. Антокольский писал о Майорове: «Николаю Майорову не приходилось искать себя и свою тему. Его поэтический мир с самого начала был резко очерчен, и в самоограничении он чувствовал свою силу. Его лирика, повествующая об искренней мужской любви, органична в этом поэтическом мире».

Д. Данин, вспоминая о Н. Майорове, друге студенческих лет, говорит: «Он знал, что он поэт. И, готовясь стать историком, прежде всего утверждал себя как поэт. У него было на это право.

Незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал, как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком, чуть вывернутым тыльной стороной к противнику, точно рука несла перчатку боксера. Он легко возбуждался, весь розовея. Он не щадил чужого самолюбия и в оценках поэзии был резко определен. Он не любил в стихах многоречивой словесности, но обожал земную вещность образа. Он не признавал стихов без летящей поэтической мысли, но был уверен, что именно для надежного полета ей нужны тяжелые крылья и сильная грудь. Так он и сам старался писать свои стихи — земные, прочные, годные для дальних перелетов».

В 1939 и 1940 годах Н. Майоров пишет поэмы «Ваятель» и «Семья». Сохранились лишь отрывки из них, а также немногие сти-

Что волю добудем  
Родимому краю!

Весной 1942 года гестапо напало на след партизанской группы Микола Шпака. Подпольщики с боем пробившись к лесу. Теперь Шпак держит путь в Киев. Он надеется связаться с киевскими подпольщиками, наладить типографский выпуск своих стихов. Но нашелся изменник, выдавший Шпака. Гестаповцы схватили поэта, бросили в тюрьму и вскоре казнили... Дата смерти Микола Шпака неизвестна.

Дым сражений и безмолвные тюремные стены поглотили тайну последних минут многих воинов-поэтов. Миновало более двадцати лет, прежде чем до нас дошли подробности расправы гитлеровцев с поэтессой Еленой Ширман. Они люто ее ненавидели, редактора ростовской агитгазеты «Прямой наводкой», автора патристического сборника «Бойцу Н-ской части», и наконец смогли дать волю своей звериной злобе. На ее глазах гитлеровцы расстреляли отца — черноморского штурмана — и мать, приказали ей самой вырыть им могилу. На следующий день поэтессу повели на казнь. С нее сорвали одежду, заставили рыть могилу теперь уже себе... Кто знает, о чем думала, что пережила в эти часы Елена Ширман, еще в юности написавшая:

... Жить! Изорваться ветрами в клочки,  
Жаркими листьями наземь сыпаться.  
Только бы чують артерий толчки,  
Гнущая от боли, от ярости дыбиться.

Они любили жизнь, но еще дороже им была Отчизна. Глядя в пустые глаза смерти, поэты произносили слово, которому суждено было стать последним. Но это не только лично ими выстраданное слово. Оно рождено мыслью, волей и напряжением тысяч людей, рядом с ними шедших на бой.

Поистине неиссякаема человеческая глубина лучших поэтических произведений периода Великой Отечественной войны. Она обеспечила им новую жизнь в наши дни, приблизила их к людям 60-х годов, научившимся, как никогда, ценить человеческую личность, ее богатство, достоинство и свободу.

Нам не дано забыть то, что создавалось во имя счастья Родины и грядущих поколений, тех, чей талант и чья безвременно оборвавшаяся жизнь были устремлены в будущее.

*В. Кардин*



хотворения этой поры. Чемодан с бумагами и книгами, оставленный Н. Майоровым в начале войны у кого-то из товарищей, до сих пор не удалось найти.

Летом 1941 года Н. Майоров вместе с другими московскими студентами роет противотанковые рвы под Ельней. В октябре его просьба о зачислении в армию была удовлетворена.

Полигрук пулеметной роты Николай Майоров был убит в бою на Смоленщине 8 февраля 1942 года.

### 318. ВЗГЛЯД В ДРЕВНОСТЬ

Там — мрак и гул. Обломки мифа.  
Но сказку ветер окрылил:  
Кровавыми руками скифа  
Хватали зори край земли.

Скакали взмыленные кони,  
Ордой сменялася орда.  
И в этой бешеной погоне  
Боялись отставать года...

И чудилось — в палящем зное  
Коней и тел под солнцем медь  
Не уставала над землею  
В веках событиями греметь.

Менялось всё: язык, эпоха,  
Колчан, кольчуга и копье.  
И степь травой-чертополохом  
Позарастала до краев.

...Остались пухлые курганы,  
В которых спят богатыри,  
Да дней седые караваны  
В холодных отблесках зари.

Ветра шуршат в высоких травах,  
И низко клонится ковыль.



Когда про удаль Станислава  
Ручей журчит степную быль —

Выходят витязи в шеломах,  
Скликая воинов в набег.  
И долго в княжеских хоромах  
С дружиной празднует Олег.

А в полночь скифские курганы  
Вздывают в темь седую грудь.  
Им снится, будто караваны  
К востоку держат долгий путь.

Им снятся смелые набеги,  
Скитанья, смерть, победный рев,  
Что где-то рядом печенеги  
Справляют тризну у костров.

Там — мрак и гул. Обломки мифа.  
Простор бескрайный, ковыли. . .  
Глухой и мертвой хваткой скифа  
Хватали зори край земли.

1937

### 319. ЛЕНИН

Вот снова он предстанет в жестах,  
Весь — наша воля. Сила. Страсть. . .  
Кругом — народ. И нету места,  
Где можно яблоку упасть.

Матрос. И женщина. С ней рядом,  
Глаза взведя на броневик,  
Щекой небритую к прикладу  
Седой путиловец приник.

Он рот открыл. Он хочет слышать,  
Горячих глаз не сводит он  
С того, о ком в газетах пишут,  
Что он вильгельмовский шпион.

Он знает: это ложь. Сквозная.  
Такой не выдумать вовек.  
Газеты брешут, понимая,  
Как нужен этот человек

Ему. Той женщине. Матросам,  
Которым снился он вчера,  
Где серебром бросают осыпь  
В сырую ночь прожектора...

И всем он был необходим.  
И бредила — в мечтах носила, —  
Быть может, им и только им  
В тысячелетиях Россия.

И он пришел... Насквозь прокурен  
В квартирах воздух, кашель зим.  
И стало сразу ясно: буря  
Уж где-то слышится вблизи.

Еще удар. Один. Последний...  
Как галька, были дни пестры.  
Гнусавый поп служил обедни.  
Справляли пасху. Жгли костры.

И ждали. Дни катились быстро.  
Уж на дворе октябрь гостил,  
Когда с «Авроры» первый выстрел  
Начало жизни возвестил.

1937

### 320. ПАМЯТНИК

Им не воздвигли мраморной плиты.  
На бугорке, где гроб землей накрыли,  
Как ощущение вечной высоты,  
Пропеллер неисправный положили.

И надписи отгранивать им рано —  
Ведь каждый, небо видевший, читал,



Когда слова высокого чекана  
Пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,  
Хотя мотор и сдал на полпути, —  
Остановись, взгляни прямее в небо  
И надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили,  
Чтоб на могилу им взамен плиты,  
Как память ими взятой высоты,  
Их инструмент разбитый положили  
И лишь потом поставили цветы!

1938

### 321. ОТЦАМ

Я жил в углу. Я видел только впалость  
Отцовских щек. Должно быть, мало знал.  
Но с детства мне уже казалось,  
Что этот мир неизмеримо мал.

В нем не было ни Монте-Кристо,  
Ни писем тайных с желтым сургучом.  
Топили печь, и рядом с нею пристав  
Перину вспарывал литым штыком.

Был стол в далекий угол отодвинут.  
Жандарм из печки выгребал золу.  
Солдат худые, сгорбленные спины  
Свет заслонили разом. На полу —  
Ничком отец. На выцветшей иконе  
Какой-то бог нахмурил важно бровь.

Отец привстал, держась за подоконник,  
И выплюнул багровый зуб в ладони,  
И в тех ладонях застеклилась кровь.

Так начиналось детство...  
Падая, рыдая,

Как птица, билась мать. И, наконец,  
Запомнилось, как тают, пропадают  
В дверях жандарм, солдаты и отец. . .

А дальше — путь сплошным туманом застлан.  
Запомнил только пыли облака,  
И пахло деревянным маслом  
От желтого, как лето, косяка.

Ужасно жгло. Пробило всё навывлет  
Жарой и ливнем. Щедро падал свет.  
Потом войну кому-то объявили,  
А вот кому — замятовал дед.

Мне стал понятен смысл отцовских вех.  
Отцы мои! Я следовал за вами  
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,  
Глаза мои не обожгло слезами,  
Глаза мои обращены на всех.

1938

### 322. В ВАГОНЕ

Пространство рвали тормоза.  
И пока ночь была весома,  
Все пассажиры были за  
То, чтоб им спалось как дома.

Лишь мне не снилось, не спалось.  
Шла ночь в бреду кровавых марев  
Сквозь сон, сквозь вымысел и сквозь  
Гнетущий привкус дымной гари.

Всё было даром, без цены,  
Всё было так, как не хотелось, —  
Не шел рассвет, не снились сны,  
Не жглось, не думалось, не пелось.

А я привык жить в этом чреве:  
Здесь всё не так, здесь сон не в сон.



И вся-то жизнь моя — кочевье,  
Насквозь прокуренный вагон.

Здесь теснота до пота сжата  
Ребром изломанной стены,  
Здесь люди, словно медвежата,  
Вповалку спят и видят сны.

Их где-то ждут. Для них готовят  
Чай, постели и тепло.  
Смотрю в окно: ночь вздохи ловит  
Сквозь запотевшее стекло.

Лишь мне осталось грустить.  
И, перепутав адрес твой,  
В конце пути придумать стих  
Такой тревожный, бредовой. . .

Чтоб вы, ступая на перрон,  
Познали делом, не словами,  
Как пахнет женщиной вагон,  
Когда та женщина не с вами.

1939

323

Тогда была весна. И рядом  
С помойной ямой на дворе,  
В простом строю равняясь на дом,  
Мальчишки строились в каре  
И били честно. Полагалось  
Бить в спину, в грудь, еще — в бока.  
Но на лицо не подымалась  
Сухая детская рука.

А за рекою было поле.  
Там, сбившись в кучу у траншей,  
Солдаты били и кололи  
Таких же, как они, людей.  
И мы росли, не понимая,

416

Зачем туда сошлись полки:  
Неужли взрослые играют,  
Как мы, сходясь на кулаки?  
Война прошла. Но нам осталась  
Простая истина в удел,  
Что у детей имелась жалость,  
Которой взрослый не имел.  
А ныне вновь война и порох  
Вошли в большие города,  
И стала нужной кровь, которой  
Мы так боялись в те года.

1939

### 324. ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ

Идти сквозь вьюгу напролом.  
Ползти ползком. Бежать вслепую.  
Идти и падать. Бить челом.  
И всё ж любить ее — такую!  
Забыть про дом и сон,  
Про то, что  
Твоим обидам нет числа,  
Что мимо утренняя почта  
Чужое счастье пронесла.  
Забыть последние потери,  
Вокзальный свет,  
Ее «прости»  
И кое-как до старой двери,  
Почти не помня, добрести,  
Войти, как новых драм зачатые.  
Нащупать стены, холод плит. . .  
Швырнуть пальто на выключатель,  
Забыв, где вешалка висит.  
И свет включить. И сдвинуть полог  
Крамольной тьмы. Потом опять  
Достать конверты с дальних полок,  
По строчкам письма разбирать.  
Искать слова, сверяя числа.  
Не помнить снов. Хотя б крича,  
Любой ценой дойти до смысла.  
Понять и сизнова начать.



Не спать ночей, гнать тишину из комнат,  
Сдвигать столы, последний взять редут,  
И женщин тех, которые не помнят,  
Обратно звать и знать, что не придут.  
Не спать ночей, не досчитаться писем,  
Не чтить посулов, доводов, похвал  
И видеть те неснившиеся выси,  
Которых прежде глаз не достигал, —  
Найти вещей извечные основы.  
Вдруг вспомнить жизнь.  
В лицо узнать ее.  
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,  
Уйти, забыть и возвратиться снова.  
Моя любовь — могущество мое!

1939

### 325. АВГУСТ

Я полюбил весомые слова,  
Просторный август, бабочку на раме  
И сон в саду, где падает трава  
К моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве, желтеющей у вишен,  
У низких яблонь, где-то у воды,  
Смотреть в листву прозрачную  
И слышать,  
Как рядом глухо падают плоды.

Не потому ль, что тени не хватало,  
Казалось мне, вселенная мала?  
Движения замедлены и вялы,  
Во рту иссохло. Губы как зола.

Куда девать сгорающее тело?  
Ближайший омут светел и глубок.  
Пока трава на солнце не сгорела,  
Войти в него всем телом до предела  
И ощутить подошвами песок!

И в первый раз почувствовать так близко  
Прохладное спасительное дно.

Вот так, храня стремление одно,  
Вползают в землю щупальцами корни,  
Питая щедро алчные плоды, —  
А жизнь идет, — всё глубже и упорней  
Стремление пробиться до воды,  
До тех границ соседнего оврага,  
Где в изобилье, с запахами вин,  
Как древний сок, живительная влага  
Ключами бьет из почвенных глубин.

Полдневный зной под яблонями тает,  
На сизых листьях теплой лебеды.  
И слышу я, как мир произрастает  
Из первозданной матери — воды.

1939

### 326. ТВОРЧЕСТВО

Есть жажда творчества,  
Уменье созидать,  
На камень камень класть,  
Вести леса строений.  
Не спать ночей, по суткам голодать,  
Вставать до звезд и падать на колени.  
Остаться нищим и глухим навек,  
Идти с собой, с своей эпохой вровень  
И воду пить из тех целебных рек,  
К которым прикоснулся сам Бетховен.  
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,  
Весь мир вместить в дыхание одно,  
Одним мазком весь этот лес и камни  
Живыми положить на полотно.  
Не дописав,  
Оставить кисти сыну,  
Так передать цвета своей земли,  
Чтоб век спустя всё так же мяли глину  
И лучшего придумать не смогли.

1939



## 327. ГОГОЛЬ

...А ночью он присел к камину  
И, пододвинув табурет,  
Следил, как тень ложилась клином  
На мелкий шашечный паркет.

Она росла и, тьмой набухнув,  
От желтых сплюсненных икон  
Шла коридором, ведшим в кухню,  
И где-то там терялась. Он  
Перелистал страницы снова  
И бредить стал. И чем помочь,  
Когда, как черт иль вий безбровый,  
К окну снаружи липнет ночь,  
Когда кругом — тоска безлюдья,  
Когда — такие холода,  
Что даже мерзнет в звонком блюде  
Вечор забытая вода?

И скучно, скучно так ему  
Сидеть, в тепло укрыв колени,  
Пока в отчаянном дыму,  
Дрожа и корчась в испугленьи,  
Кипят последние поленья.

Он запахнул колени пледом,  
Рукой скользнул на табурет,  
Когда, очнувшись от бреда,  
Нашупал глазом слабый свет

В камине. Сердце было радо  
Той тишине. Светает — в пять.  
Не постучавшись, без доклада  
Ворвется в двери день опять.

Вбегут докучливые люди,  
Откроют шторы, и тогда  
Всё в том же позабытом блюде  
Чуть вздрогнет кольцами вода.

И с новым шорохом единым  
Растает на паркете тень,

И в оперенье лебедином  
У ног ее забьется день...

Нет, нет, — ему не надо света!  
Следить, как падают дрова,  
Когда по кромке табурета  
Рука скользит едва-едва...

В утробе пламя жажду носит  
Заметить тот порыв один,  
Когда сухой рукой он бросит  
рукопись в камин.

...Теперь он стар. Он всё прощает  
И, прослезясь, глядит туда,  
Где пламя жадно поглощает  
Листы последнего труда.

1939 ?

### 328. ПРЕДЧУВСТВИЕ

Неужто мы разучимся любить,  
И в праздники, раскинувши диваны,  
Начнем встречать гостей и церемонно пить  
Холодные кавказские нарзаны.

Отяжелеем. Станет слух наш слаб.  
Мычать мы будем вяло и по-бычьи.  
И будем принимать за женщину мы шкаф  
И обнимать его в бесполом безразличьи.

Цепляясь за разваленный уют,  
Мы в пот впадем, в безудержное мленье.  
Кастратами потомки назовут  
Стареющее наше поколенье.

Без жалости нас время истребит.  
Забудут нас. И до обиды грубо  
Над нами будет кем-то вбит  
Кондовый крест из тела дуба.



За то, что мы росли и чахли  
В архивах, в мгле библиотек,  
Лекарством руки наши пахли  
И были бледны кромки век.

За то, что нами был утрачен  
Сан человеческий; что, скопцы,  
Мы понимали мир иначе,  
Чем завещали нам отцы.

Нам это долго не простится,  
И не один минует век,  
Пока опять не народится  
Забытый нами Человек.

1939 ?

### 329. ВЕСЕННЕЕ

Я шел веселый и нескладный,  
Почти влюбленный, и никто  
Мне не сказал в дверях парадных,  
Что не застегнуто пальто.

Несло весной и чем-то теплым,  
А от слободки, по низам,  
Шел первый дождь,  
Он бился в стекла,  
Гремел в ушах,  
Слепил глаза,  
Летел,  
Был слеп наполовину,  
Почти прямой. И вместе с ним  
Вступала боль сквозная в спину  
Недомоганием сплошным.

В тот день еще цветов не знали,  
И лишь потом на всех углах  
Вразбивку бабы торговали,  
Сбывая радость второпях.  
Ту радость трогали и мяли,

Просили взять,  
Вдыхали в нос,  
На грудь прикладывали,  
Брали  
Поштучно,  
Оптом  
И вразнос.  
Ее вносили к нам в квартиру,  
Как лампу, ставили на стол, —  
Лишь я один, должно быть, в мире  
Спокойно рядом с ней прошел.

Я был высок, как это небо,  
Меня не трогали цветы, —  
Я думал о бульварах, где бы  
Мне встретилась случайно ты,  
С которой я лишь понаслышке,  
По первой памяти знаком, —  
Дорогой, тронутый снежком,  
Носил твой из школы книжки. . .

Откликнись, что ли!  
Только ветер  
Да дождь, идущий по прямой. . .  
А надо вспомнить —  
Мы лишь дети,  
Которых снова ждут домой,  
Где чай остыл,  
Черствеет булка. . .  
Так снова жизнь приходит к нам  
Последней партой,  
Переулком,  
Где мы стояли по часам. . .

Так я иду, прямой, просторный,  
А где-то сзади, невпопад,  
Проходит детство, и валторны  
Словами песни говорят.  
Мир только в детстве первозданен,  
Когда, себя не видя в нем,  
Мы бредим морем, поездами,  
Раскрытым настезь в сад окном,



Чужою радостью, досадой,  
Зеленым льдом балтийских скал  
И чьим-то слишком белым садом,  
Где ливень яблоки сбивал.

Пусть неуютно в нем, неладно,  
Нам снова хочется домой,  
В тот мир простой, как лист тетрадный,  
Где я прошел, большой, нескладный  
И удивительно прямой.

### 330. ДЕД

Он делал стулья и столы  
И, умирать уже готовясь,  
Купил свечу, постлал полы  
И новый сруб срубил на совесть.

Свечу поставив на киот,  
Он лег поблизости с корытом  
И отошел. А черный рот  
Так и остался незакрытым.

И два громадных кулака  
Легли на грудь. И тесно было  
В избенке низенькой, пока  
Его прямое тело стыло.

### 331. РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

Приду к тебе и в памяти оставлю  
Застой вещей, идущих на износ,  
Спокойный сон ночного Ярославля  
И древний запах бронзовых волос.  
Всё это так на правду не похоже  
И вместе с тем понятно и светло,  
Как будто я упрямее и строже  
Взглянул на этот мир через стекло.

И мир встает — столетье за столетьем,  
И тот художник гениален был,  
Кто совершенство форм его заметил  
И первый трепет жизни ощутил.  
И был тот час, когда, от стужи хмурый,  
И грубый корм свой поднося к губе,  
И кутаясь в тепло звериной шкуры,  
Он в первый раз подумал о тебе.

Он слушал ветра голос многоустый  
И видел своды первозданных скал,  
Влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство  
И образ твой в пещере изваял.  
Пусть истукан массивен был и груб  
И походил скорей на чью-то тушу,  
Но человеку был тот идол люб:  
Он в каменную складку губ  
Всё мастерство вложил свое и душу.

Так, впроголодь живя, кореньями питаясь,  
Он различил однажды неба цвет.  
Тогда в него навек вселилась зависть  
К той гамме красок. Он открыл секрет  
Бессмертья их. И где б теперь он ни был,  
Куда б ни шел, он всюду их искал.  
Так, раз вступив в соперничество с небом,  
Он навсегда к нему возревновал.  
Он гальку взял и так раскрасил камень,  
Такое людям бросил торжество,  
Что ты сдалась, когда, припав губами  
К его руке, поверила в него.  
Вот потому ты много больше значишь,  
Чем эта ночь в исходе сентября.  
Мне даже хорошо, когда ты плачешь,  
Сквозь слезы о прекрасном говоря.

Мне только б жить и видеть росчерк грубый  
Твоих бровей, и пережить тот суд,



Когда глаза солгут твои, а губы  
Чужое имя вслух произнесут.

Уйди, но так, чтоб я тебя не слышал,  
Не видел, чтобы, близким не грубя,  
Я дальше б жил и подымался выше,  
Как будто вовсе не было тебя.

333

Я с поезда. Непроспанный, глухой.  
В кашне, затянутом за пояс.  
По голове погладь меня рукой,  
Примись ругать. Обрато шли на поезд.  
Грозись бедой, невыгодой, концом.  
Где б ни была ты — в поезде, вагоне, —  
Я всё равно найду,  
Уткнусь лицом  
В твои, как небо, светлые  
Ладони.

334

Как жил, кого любил, кому руки не подал,  
С кем дружбу вел и должен был кому —  
Узнают всё, раскроют все комоды,  
Разложат дни твои по одному.

335

Когда умру, ты отошли  
Письмо моей последней тетке,  
Зипун залатанный, обмотки  
И горсть той северной земли,  
В которой я усну навеки,  
Метаясь, жертвуя, любя

Всё то, что в каждом человеке  
Напоминало мне тебя.  
Ну а пока мы не в уроне  
И оба молоды пока,  
Ты протяни мне на ладони  
Горсть самосада-табака.

1940

### 336. МЫ

Это время  
трудновато для пера.

*Маяковский*

Есть в голосе моем звучание металла.  
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.  
Не всё умрет. Не всё войдет в каталог.  
Но только пусть под именем моим  
Потомок различит в архивном хламе  
Кусок горячей, верной нам земли,  
Где мы прошли с обугленными ртами  
И мужество, как знамя, пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки.  
Нам не хватало неба и воды.  
Упрямой жизни в каждом человеке  
Железом обозначены следы —  
Так в нас запали прошлого приметы.  
А как любили мы — спросите жен!  
Пройдут века, и вам солгут портреты,  
Где нашей жизни ход изображен.

Мы были высоки, русоволосы.  
Вы в книгах прочитаете как миф  
О людях, что ушли не долюбив,  
Не докурив последней папиросы.  
Когда б не бой, не вечные исканья  
Крутых путей к последней высоте,  
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,  
В столбцах газет, в набросках на холсте.



Но время шло. Меняли реки русла.  
И жили мы, не тратя лишних слов,  
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных  
Да в серой прозе наших дневников.  
Мы брали пламя голыми руками.  
Грудь раскрывали ветру. Из ковша  
Тянули воду полными глотками  
И в женщину влюблялись не спеша.

И шли вперед, и падали, и, еле  
В обмотках грубых ноги волоча,  
Мы видели, как женщины глядели  
На нашего шального трубача.  
А тот трубил, мир ни во что не ставя  
(Ремень сползал с покатого плеча),  
Он тоже дома женщину оставил,  
Не оглянувшись даже сгоряча.

Был камень тверд, уступы каменисты,  
Почти со всех сторон окружены,  
Глядели вверх — и небо стало чисто,  
Как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть неточны слова,  
И слог тяжел, и выраженья грубы!  
О нас прошла всесветная молва.  
Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут,  
Он нами пройден, пройден до конца,  
И хорошо, что руки наши пахнут  
Угрюмой песней верного свинца.  
И как бы ни давили память годы,  
Нас не забудут потому вовек,  
Что, всей планете делая погоду,  
Мы в плоть одели слово «Человек»!

1940

Я не знаю, у какой заставы  
 Вдруг умолкну в завтрашнем бою,  
 Не коснувшись опоздавшей славы,  
 Для которой песни я пою.  
 Ширь России, дали Украины,  
 Умирая, вспомню. . . И опять —  
 Женщину, которую у тына  
 Так и не посмел поцеловать.

1940

Нам не дано спокойно сгнить в могиле —  
 Лежать навтыяжку и приоткрыв гробы, —  
 Мы слышим гром предутренной пальбы,  
 Призыв охрипшей полковой трубы  
 С больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.  
 Что гибель нам? Мы даже смерти выше.  
 В могилах мы построились в отряд  
 И ждем приказа нового. И пусть  
 Не думают, что мертвые не слышат,  
 Когда о них потомки говорят.



